

Дастан «КЕРОГЛУ»

ПРИХОД ДЕМИРЧИОГЛУ В ЧЕНЛИБЕЛЬ

День ото дня умножались ряды защитников Ченлибеля. Все больше приходило к Кероглу отважных молодцов. Дошло дело до того, что, когда Кероглу поднялся на врага, обнажились в миг семьсот семьдесят семь мечей. Кероглу разделил удальцов на отряды и над каждым поставил начальника. Среди них были прославленные игиды Дели-Гасан, Дели-Мехтер, Чопур-Сафар, Дели-Мехти, Алайпозан, Тьпдагыдан, Тохмагвуран, Геридонмаз, Танрытаньмаз, Дильбильмез, Гюрджуоглу, Горхуганмаз, Белли-Ахмед и Исабала. Дойди дело до схватки, каждый из них не уступит и ста игидам.

Кероглу любил своих воинов и заботился о них. Им не приходилось дважды просить его о чем-нибудь.

Слава о привольной жизни удальцов Ченлибеля разнеслась далеко. Что ни день в Ченлибель приходили новые люди, чтобы честью и правдой послужить Кероглу. Да и сам он разузнавал о новых игидах, старался привлечь их в Ченлибель. Бывало, что пройдет неделя или две, сядет он на своего Гырата и поедет по окрестным селам и городам — не встретит ли верных людей.

Рассказывают, что как-то Кероглу в старой одежде гуртовщика, держал путь в Нахичевань. Объехал он город слева, потом справа и, наконец, остановил коня у самого базара, перед кузницей.

Увидев его, кузнец поспешно поднялся с места, разложил готовые подковы, чтоб тот мог выбрать. Понравилась Кероглу приветливость кузнеца. А надо вам сказать, что у Кероглу в каждом городе, в каждой деревушке были свои друзья. Захотел он подружиться с кузнецом, да сначала решил подшутить над ним. Будто рассматривая подковы, он одну за другой согнул их в руке и, вернув кузнецу, сказал:

— Дружище, что это за кривые, косые куски железа, давай подковы.

Кузнец посмотрел снизу вверх на покупателя и, не сказав ни слова, снял мерку с копыт Гырата. Выковал он четыре добротные подковы, и хотел подковать коня.

Никто, кроме Кероглу, не смог бы оторвать от земли копыта Гырата. Зная это, он, засучив рукава, сам приподнял сперва одну, потом другую ногу коня. Передние копыта его были подкованы, когда же черед дошел до задних, Гырат заупрявился. Как Кероглу ни старался, не мог приподнять ногу коня. Но оставим их тут возиться, с Гыратом и расскажем о сыне кузнеца.

У кузнеца был сын, совсем еще юный. Сызмальства мальчишки прозвали его Демирчиоглу.

Демирчиоглу рос не по дням, а по часам и стал высоченным, могучим пехлеваном. Кто видел его раз, тому хотелось взглянуть и в другой. Когда Кероглу подвел Гырата к кузнецу, Демирчиоглу был в кузнице. Смотрит, к отцу пришел заказчик, по одежде похож на гуртовщика, а лицом — чистый пехлеван.

Пришелся он по душе Демирчиоглу. Но когда Кероглу стал шутить, гнуть подковы и возвращать их, Демирчиоглу вспыхнул. Хотел было он встать и достойно, ответить ему, но, прокляв в душе слепого шайтана, сдержался и стал ждать, чем все это кончится.

А кузнец возился-возился с упрямым Гыратом и в конце концов поранил себе молотком палец.

Тут Демирчиоглу уже не мог больше сдержаться. Он был и сердит и рад, что Кероглу не в силах сладить с конем. Тихонько выйдя из кузницы, он крадучись подошел к ним и, оттолкнув Кероглу, сразу приподнял Гырата за обе задние ноги. Как конь ни бился, как ни старался вырваться из ручищ Демирчиоглу, не мог. Наконец, устав, он затих. Посмотрел Демирчиоглу снизу вверх на Кероглу и сказал:

— Эдакий здоровенный мужчина и не можешь приподнять ногу коню. Отец, иди, подкуй коня!

Посмотрел Кероглу на юношу, посмотрел на Гырата и не проронил ни слова. Однако сила Демирчиоглу поразила его.

Кузнец подковал коня. Кероглу опустил руку в карман и вынул деньги. Взял Демирчиоглу монеты и, оглядев их с обеих сторон, как прежде Кероглу подковы, смял в руке, словно воск, и вернул:

— Если даешь, давай настоящие деньги, на что нам, эти кривули, косули?

Взял Кероглу деньги, посмотрел, видит, в самом деле, так оно и есть. Снова вынул он из кармана пригоршню монет и дал Демирчиоглу.

На этот раз Демирчиоглу, потеряв монеты между пальцами, стер с них чеканку и, бросив Кероглу, сказал:

— Нам фальшивые деньги не нужны. Возьми, быть может, тебе они пригодятся.

Кероглу понял, что этот молодец задирает его. Не сказав ни слова, он отдал деньги самому кузнецу, сел на Гырата и поскакал. Ехал он и все думал, как заманить Демирчиоглу в Ченлибель и уговорить его примкнуть к игидам. Погруженный свои мысли, приехал он в Ченлибель. Удальцы вышли ему навстречу. Видят, Кероглу мрачен, точно какое горе свалилось ему на плечи. Но сколько они ни спрашивали, Кероглу ничего не ответил им.

Оставим их теперь в Ченлибеле и расскажем о Демирчиоглу.

После того, как Кероглу ускакал на своем коне, кузнец сказал сыну:

— Эх, сынок, что ты наделал? Жили мы себе тихо, мирно, а теперь ты заварил кашу!

Но, отец, — ответил Демирчиоглу, — что я такое, сделал, какую заварил кашу? Он погнул наши подковы, а я его монеты. Пусть бы сидел спокойно. Что мы дети что ли? Чего ему тут бахвалиться?

— Дитя мое, — сказал кузнец, — знаешь ли, кто это? Это удалой Кероглу из Ченлибеля. Он приводит в страх и трепет самих пашей и беков. Я нарочно притворился, будто не узнал его.

— Ох, отец, почему ты сразу не сказал об этом, я сложил бы его пополам и смял своими коленями. Показал бы ему, что он за пехлеван.

Сколько кузнец ни убеждал: «Сын мой, брось и думать об этом, тебе с Кероглу не справиться», Демирчиоглу твердил свое:

— Нет, я должен проучить его... Твердят Кероглу! Кероглу! А я-то думаю, что это за человек, почему все так боятся его. Ах, жаль, что я не знал... Жаль! Видно ему еще не довелось встречаться с настоящими игидами. Видал, как он притих, когда я смял его денежки и вернул ему самому. От страха и слова вымолвить не посмел.

— Сынок, — сказал кузнец, — ты еще молод, просто не стал он связываться с тобой. Ты не гляди, что он такой. При одном его имени паши и ханы дрожат, как листья.

— Что ж, — ответил Демирчиоглу, — паши и ханы будут трястись. Где им взять мужества? А ты не слушай весь этот шум-гам! Кероглу! Кероглу! Видал, — он не мог справиться с какой-то клячей...

— Какая это кляча? Этого коня называют бешеным Гыратом удалого Кероглу. Да любой хан или паша отдаст за этого коня все свое состояние.

— Ладно, отец, — сказал Демирчиоглу, — дай мне неделю сроку, если за это время я не приведу тебе этого коня, то не буду достоин носить папаху.

Словом, сколько кузнец ни увещевал сына, ничего не вышло. В конце концов Демирчиоглу взял тайком от отца цепь от плуга, опоясался ею и пустился в Ченлибель. Долго ли шел он, коротко ли, шел через горы, леса и доли, наконец, дошел к ночи до Ченлибеля. Только поднялся он на гору, как на вершине столкнулся с Кероглу. А была уже, как сказано, темная ночь.

— Эй, кто там? — окликнул Кероглу. — Что ты делаешь здесь в такую позднюю пору?

— Какое тебе дело, кто я? — ответил Демирчиоглу. Кероглу тотчас узнал его по голосу. А сам, чтобы остаться неузнанным, изменил голос и сказал:

— Чего ты сердисься? Ведь я тебе ничего обидного не оказал, спросил только, кто ты и что тут делаешь?

— Я ищу Кероглу. У меня к нему дело.

— И я ищу его.

— А на что он тебе? — спросил Демирчиоглу.

— О, он причинил мне зло. Я пришел свести с ним счеты. Посмотрим на чьей стороне правда.

— И мне нужно закончить с ним свое дело, — промолвил Демирчиоглу. — Несколько дней тому назад он приходил подковать своего коня. Жаль, что я не знал его. Потом уж, когда он уехал, отец сказал, что это был Кероглу. Этой ночью я должен увести отсюда или его самого или его коня.

Хотел было Кероглу схватить его в охапку и отвести к удалцам, но подумал: «Дай-ка я еще разок испытаю его храбрость». И, снова изменив голос, он сказал:

— С самого вечера я тут. Все высмотрел, разузнал. Сейчас Кероглу нет, но конь его в конюшне.

— Пойдем, покажи мне эту конюшню, — предложил Демирчиоглу.

— Отлично, — ответил Кероглу. — Давай уведем Гырата. Где бы Кероглу ни был, а он все равно придет за конем. Тогда посмотрим, чью сторону возьмет аллах.

Сказав это, Кероглу повел за собой Демирчиоглу, и по кривым извилистым тропкам привел к конюшне. Смотрят, на дверях висит большой замок.

— Как же мы теперь будем ломать замок? — тихонько спросил Кероглу.

Демирчиоглу покосился на него:

— Выдумает тоже, что я открою для тебя тут кузницу? — Проговорив это, Демирчиоглу проворно вскарабкался на конюшню. Мгновенно проделал брешь в крыше, потом, сняв с себя цепь и отдав один конец Кероглу, сказал:

— Спустись в конюшню, продень цепь под грудь коня, а конец дай мне.

Кероглу молча спустился в конюшню. Продел цепь под грудь коня и конец передал Демирчиоглу. Тот приналег, понатужился, смотрит Кероглу, стреноженный Гырат поднялся в воздух.

— Эй, постой, — крикнул Кероглу, — я поправлю цепь!

Демирчиоглу слепка ослабил конец цепи. Кероглу обвязал цепью и Дурата. Демирчиоглу напрягся, и оба коня поднялись в воздух. Удивился Кероглу, что за чудовище, настоящий пехлеван! Если закрепить цепь, то поднимет он и гору.

Словом, Демирчиоглу поднял Гырата на крышу, сорвал и бросил путы с коня, и сказал Кероглу:

— Садись на круп коня.

Хотел было Демирчиоглу сам сесть на Гырата. Гырат оскалил зубы, двинулся на него и чуть было не оторвал ему голову. Кероглу бросился к коню. Увидев его, Гырат успокоился. Сдерживая коня, Кероглу сказал:

— Садись сначала ты, а потом сяду я.

У Гырата был такой нрав: кому Кероглу вручал поводья, того он слушался. Словом, оба сели на коня. Когда перевалили через гору и поехали по дороге, Кероглу спросил:

— Послушай, милый мой, как это говорится у нас, — если не предвидеть беду, добру не бывать. Вдруг Кероглу вернется, узнает, что мы увели Гырата, возьмет своих удальцов и погонится за нами, что мы тогда станем делать?

— Ну и что ж, пусть гонится, — отвечал Демирчиоглу. — Пускай гонится хоть со вчерашнего дня, с сегодняшним будет два. Этого-то я и хочу.

— И ты ничуть не боишься его? — спросил Кероглу.

— Я не боюсь ни его меча, ни его удальцов, — ответил Демирчиоглу. — Только слышал, что в бою он вдруг может клич кликнуть. Если что и испугает меня, так разве только его голосина.

— Ну, кричит он редко-редко. Зато сила в ручищах этого злодея здоровенная. Стоит ему схватить что-нибудь — кончено.

— Эх, пришел бы он сейчас сюда, я показал бы ему силищу его рук.

Кероглу промолчал. Проехали они еще немного. Кероглу видит, что Ченлибель остался далеко позади. Если они схватятся и поднимут тут шум, удальцы не услышат. Приложил он губы к уху Демирчиоглу и как крикнет! Демирчиоглу перекувырнулся и свалился прямо под ноги Гырата.

Кероглу соскочил с коня, крепко связал руки Демирчиоглу цепью. Кое-как Демирчиоглу пришел в себя, приподнялся, сел и спросил:

— Уж не ты ли сам Кероглу?

— Да, я самый, — ответил он.

— Хвала тебе! Достоин ты этого имени. Развяжи мне руки, пойдем. С нынешнего дня стану я тебе младшим братом.

— Нет, приятель, — ответил Кероглу. — Рук тебе развязывать я не стану. Развяжу, а ты вдруг задумаешь шалить. Встань, пойдем так.

— Будь спокоен, развяжи. Я ведь сказал, что с этого дня я тебе младший брат.

Кероглу не послушал его. Тогда Демирчиоглу сказал:

— Я человек прямой, коли дал слово, держу его. Или ты думаешь, если не снимешь цепи, сам не сумею?

Сказав это, Демирчиоглу глубоко вздохнул, понатужился разок, — цепь разорвалась на куски и упала наземь. Повернувшись к Кероглу, он промолвил:

— Кероглу, не поверил ты мне, не снял цепи. Но мое слово крепко. Куда прикажешь, туда и поедем. Теперь до конца жизни буду я с тобой. Только одно условие ставлю: коли мне захочется, съезжу в город, навещу отца с матерью.

— Вольному воля, — отвечал Кероглу. — Когда бы ни пожелал, можешь ехать.

Снова уселись оба на Гырата и поехали в Ченлибель. Собрались игиды, радушно встретили Демирчиоглу и устроили пир.

Видит Нигяр-ханум, что Демирчиоглу без пояса, с непокрытой головой, и спрашивает его:

— Игид, почему на тебе нет пояса?

— Клянусь аллахом, ханум, — отвечал он, — был у меня один-единственный пояс, Кероглу связал им мне руки, я рассердился, рванул — и он порвался.

Кероглу рассказал про то, как справился богатырь с цепью. Все воздали хвалу мощи Демирчиоглу.

Рады были Кероглу и его удальцы, что среди них оказался такой богатырь.

Демирчиоглу всегда был верен своему слову. Подружившись с удальцами, стал он Кероглу верным помощником и опорой.

М.П. ВАГИФ

Гошма «НАСТУПАЕТ БАЙРАМ»

Наступает байрам, — да не знаю, как быть?
Заглянул бы в мешок, но мешка не найти.
Рис и масло давно не водились у нас.
Съел бы мяса кусок, но куска не найти!

Бог о нас позабыл — милосердный, благой.
Скажешь слово одно — и в село ни ногой!
У соседей по горло еды дорогой,
А у нас и зубца чеснока не найти!

Нет! Достатком Вагиф не прославится, нет!
В доме даже супруги-красавицы нет.
Нет ума и не скоро прибавится, нет!
Да и разума тоже пока не найти!

Перевод П. Панченко

ДЖАЛИЛ МАМЕДГУЛУЗАДЕ

Рассказ « ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК »

Было двенадцатое ноября. Холода уже наступили, но снег еще не выпал.

Последний раз осмотрев больную жену Велихана, врач заявил, что здоровье ее окрепло и через неделю можно ехать.

Хан, у которого были срочные дела в Эривани, очень спешил. Кроме того, он боялся, как бы наступившие холода не задержали переезда больной.

Хан взял перо и написал в Эривань своему другу Джафар-аге коротенькое письмо:

«Милый мой! Я собираюсь через неделю выехать с семьей в Эривань. Везу больную жену, поэтому очень и очень прошу тебя — загляни в мою квартиру, прикажи проветрить комнаты, разостлать ковры и протопить печи. Ответ сообщи по телеграфу. Все твои поручения я выполнил. До скорого свидания!

Твой друг Велихан».

Хан вложил письмо в конверт, наклеил марку, надписал адрес и хотел было позвать слугу, чтобы тот отнес письмо на почту, но вспомнил, что отправил слугу по другому делу.

В этот момент постучали в ворота; хан вышел во двор и увидел крестьянина Новрузали из селения Иткапан.

Новрузали частенько навещал хана, и не было случая, чтобы не привозил с собой каких-нибудь продуктов: муку, домашнюю лапшу, мед, масло. И на этот раз он явился не с пустыми руками.

Увидев хана, он приставил палку к стене и стал открывать вторую половину ворот. Затем, покрикнув: «Чош, чош!» — ввел во двор нагруженного ослика и стал снимать с него мешки и пищавших цыплят.

Поставив мешки у стены, он поднял глаза на хана и низким поклоном приветствовал его.

— Послушай, Новрузали, ну зачем ты беспокоился? — сказал хан, отвечая на приветствие.

— Что ты, хан! Какое же это беспокойство? Я твой слуга до самой смерти, ответил тот, стряхивая с себя пыль.

«Не поручить ли Новрузали отнести письмо на почту?» — подумал хан.

Был уже полдень, и почту должны были скоро отправить.

— Новрузали, ты знаешь, где почта? — спросил хан.

— Откуда мне, мужику, знать про пошт, хан? — ответил Новрузали.

— Ну тогда, может, знаешь, где помещается управление начальника?

— Знаю, хан, как не знать. Еще на прошлой неделе я приезжал к начальнику с жалобой на старшину. Клянусь твоей головой, хан, сильно притесняет нас старшина... И то сказать, человек он пришлый, недолгобливает нас. На прошлой неделе пропало у меня двое телят, я и пошел...

— погоди, об этом после расскажешь, а сейчас слушай, что я тебе скажу. Как раз напротив управления начальника стоит большой дом, у дверей этого дома, на стене, висит ящик. Это — почтовый ящик; у него маленькая, длинная крышка... Так вот, беги туда с этим письмом, подними крышку, опусти письмо в; ящик и быстренько возвращайся.

Новрузали робко взял обеими руками письмо, оглядел его, поднял глаза на хана, затем, отойдя к стене, наклонился, собираясь положить письмо на землю.

— Не клади туда, — крикнул хан, — запачкаешь! Беги скорей, опусти в ящик и возвращайся.

— Дорогой хан, позволь только повесить на голову осла мешок с овсом. Ведь какой путь он прошел, устал, проголодался.

— Нет, нет! Ничего с твоим ослом не случится! Письмо запоздает... После успеешь покормить.

— Тогда позволь хоть привязать его за ногу, а то он обгрызет кору на деревьях.

— Нет, нет, после. Сейчас беги! Скорее опусти письмо!..

Новрузали бережно положил письмо за пазуху.

— Хан, — сказал он, — цыплята связаны. Позволь развязать их и накормить. Корм я прихватил с собой. И он полез в карман за кормом, но хан остановил его:

— Брось, брось все это, скорей беги с письмом...

Новрузали взял палку и вприпрыжку, как ребенок, побежал к воротам. Вдруг, вспомнив что-то, он остановился и обернулся к хану.

— Ой, хан, милый! Там в платке яйца, следы за ослом, а то ляжет и раздавит их.

Хан начал терять терпение.

— Будет тебе болтать!.. Беги, не то опоздаешь!

Новрузали побежал.

— Новрузали! — крикнул хан ему вслед. — Смотри, никому не отдавай и не показывай письма, опусти в ящик и живо возвращайся.

— Что я, ребенок, что ли, — ответил на ходу Новрузали, — за кого ты меня принимаешь? Сам начальник не отнимет у меня письма! — и скрылся за углом.

Хан вернулся в комнату.

— Ну, свет моих очей, готовься к отъезду, — ласково сказал он жене. — Я написал в Эривань, чтобы квартиру привели в порядок. Благодарение аллаху, здоровье у тебя улучшилось... Наконец-то можем ехать. И врач находит, что перемена климата поможет тебе.

Пока хан беседовал с женой о поездке, вернулся слуга и доложил:

— Хан, там чей-то осел и мешки.

— Убери мешки. Это привез нам Новрузали из Иткапана, — ответил хан.

Слуга отнес цыплят и яйца на кухню, а осла отвел в конюшню. Затем развязал мешок, взял щепотку муки и принес показать хану.

— Хорошая, хан, мука, белая...

Тот посмотрел на муку и велел подавать обед. Только после обеда, который длился два часа, Великан вспомнил о Новрузали. Он позвал слугу. Оказалось, что Новрузали еще не возвращался.

Хан удивился, но решил, что Новрузали, очевидно, опустил письмо и отправился на базар купить хлеба и поесть, или сделать покупки для дома.

Прошел еще час. Новрузали все не было.

Тогда хан послал слугу на почту узнать, куда запропастился Новрузали. Не прошло и получаса, как тот возвратился и сообщил, что Новрузали нигде не видно.

Хан вышел на террасу и закурил папиросу.

«Должно быть, беда с Новрузали приключилась, иначе он бы не задержался так долго», — думал хан, прохаживаясь.

В это время во двор вошел полицейский.

— Пристав просит вас пожаловать к нему и поручиться за вашего крестьянина, не то его отправят в тюрьму, — сказал он хану.

Это сообщение ошеломило хана. Минуту он молча смотрел на полицейского, не зная, что сказать.

— Этот крестьянин — безобиднейший человек, — проговорил наконец хан. — За что его арестовали?

— Я ничего не знаю, — ответил полицейский. — Пожалуйте в управление, там вам объяснят.

Быстро одевшись и ничего не сказав жене, чтобы зря ее не волновать, хан отправился в полицейское управление. Проходя мимо помещения с арестованными, он заглянул в окно и среди других арестантов увидел беднягу Новрузали, который забился в угол и плакал, как ребенок, вытирая слезы полою чохи.

Узнав от пристава подробности дела и поручившись за Новрузали, хан повел его к себе домой.

Войдя во двор, Новрузали первым делом нацепил на голову осла мешок с овсом, затем присел у стены и принялся плакать. Хан прошел в комнату, закурил папиросу и, выйдя на террасу, позвал крестьянина.

— Ну, Новрузали! Расскажи теперь, что с тобой приключилось. Это очень забавная история! О ней можно в книге написать. Рассказывай подробно, от начала до конца!.. Ничего не пропускай. Начни с того, как ты ушел отсюда с письмом и как потом попал в полицию...

Новрузали встал, подошел к хану и, вытирая слезы полон чохи, начал рассказывать:

— Умоляю тебя, хан, прости меня, ради детей твоих! Я ни в чем не виноват. Я — бедный крестьянин. Откуда мне знать, что такое письмо, или ящик, или пошт? Молю тебя, пожалей, не губи. Если останусь жив, отблагодарю тебя за все. Согрешил я, правда, но что же делать! Видно, уж такова воля аллаха! До самой смерти буду твоим рабом...

С этими словами он подошел к хану еще ближе и нагнулся, чтобы поцеловать его ногу.

— Не огорчайся, Новрузали! Я ни в чем не упрекаю тебя. Да и что ты сделал мне дурного, чтобы я сердился на тебя?

— Хан, умоляю тебя! Что я мог сделать еще хуже? Этот гяур, сын гяура, взял твое письмо, положил в карман и унес.

— Какой гяур?

— Да тот русский, сын гяура.

— Куда же он унес письмо?

— А в тот самый большой дом, что с ящиком на стене. Прямо в этот дом и вошел.

Хан задумался.

— А разве ты не опустил письмо в ящик?

— Как не опустил! Только я опустил письмо, как появился вдруг этот гяур, каким-то образом открыл ящик, взял письмо и ушел.

— А в ящике разве не было других писем?

— Как не было! Было много писем, он все и забрал...

Хан расхохотался.

— Нет, Новрузали! Расскажи-ка все подробно, от начала до конца: как ты отнес письмо, как опустил его в ящик и как по-дрался с этим русским.

— Дорогой хан! — начал Новрузали. — Взял я твое письмо и прямехонько отправился к канцелярии начальника. Нашел тот самый дом, о котором ты рассказывал. Подошел и поднял крышку ящика на стене. Хотел опустить письмо, но не решился. Взглянул на письмо, на ящик, задумался, — прогневить тебя страшно. Стою и не знаю: бросить письмо в ящик или нет. Запомню, как быть после того, как опущу письмо в ящик, вернуться обратно или стоять там. Подумал: если опустить письмо и дожидаться, то до каких же пор? Ведь сам ты видел, хан, что я оставил во дворе голодного осла, связанных цыплят, мешки с мукой. Они до сих пор еще там; позволь, хан, позвать слугу и перенести мешки в дом, а то пойдет дождь, намочит муку. — Оставь, Новрузали, без тебя все сделают. Рассказывай, что было дальше.

— Не решился я опустить письмо. Закрыв крышку ящика, отошел, стою в стороне. Хотел было вернуться, переспросить тебя. Но, говоря по правде, испугался твоего гнева. Боялся, что ты подумаешь обо мне: «Экое животное этот Новрузали, какой ишак!» Ну, присел я на корточки у стены отдохнуть немного. Вдруг смотрю какой-то мальчик-армянин, вот та-кой, лет двенадцати-тринадцати, идет прямо к ящику, поднимает крышку и бросает туда письмо, похожее на твое. Закрыв крышку и ушел. Сколько я ни звал этого бессовестного мальчишку, сколько ни спрашивал, как же он оставляет письмо и уходит, он ничего не ответил... Не понял меня, что ли, даже не оглянулся. Не успел отойти мальчик, как быстро подбежала русская женщина, тоже опустила письмо и ушла. Тогда я осмелел, думаю: видно, письма и должны остаться в ящике. И так расхрабрился, что, прочитав молитву, смело подошел к ящику, поднял крышку и опустил письмо. Повернулся, чтобы идти назад. Но в это время к ящику подошел какой-то русский. Сначала я подумал, что он тоже хочет опустить письмо, но, смотрю, не-ет! У плута совсем другие намерения: он запустил правую руку в ящик. Тут я смекнул, что каналья хочет утащить письма... Прости меня, хан, я надоедаю тебе болтовней... Прикажи слуге отпустить меня, уже поздно, не успею к вечеру домой.

— Да куда я отпущу тебя? Рассказывай дальше!

— Хан, пусть мои сироты будут принесены в жертву ради твоего блага! Чтоб мне ни одного дня не прожить без тебя! Да... вижу, этот плут, не стесняясь, выгребает письма из ящика. Потом закрывает ящик и хочет улизнуть. Тут я подскочил к нему, схватил за руку и говорю: «Ты куда это, голубчик, тащишь письма? Люди оставили их здесь не для того, чтобы ты уносил: сейчас же без всяких разговоров положи их на место, не то!.. Новрузали еще не умер, не позволит, чтобы ты украл письмо его господина. Нехорошо поступаешь. Зачем тянуться к чужому добру? Разве в вашем шариате воровство не считается грехом?..» Хан, прошу тебя! Отпусти меня, а то уже поздно, темнеет.

— Да не спеши, успеешь. Рассказывай, что было дальше...

— Да... на чем же я остановился? Да... Эй, эй! Держи, держи! Осел переломает виноградники...

Новрузали кинулся было к ослу, но хан удержал его.

— Так на чем я остановился? Да... Как ни уговаривал я его, как ни просил, ни умолял, как ни уверял, что хан убьет меня, как ни требовал, чтобы он вернул хоть письмо хана, уперся, проклятый, ни за что не хочет отдавать... Вижу: решил он убежать с письмами. Гнев ударил мне в голову. Схватил я гяура за плечи и так грохнул о землю, что у него кровь изо рта пошла. Бросились на меня люди из канцелярии начальника, стали избивать, потом потащили в тюрьму. Чтоб мне погибнуть у твоих ног! Не миновать бы мне Сибири, если б ты не заступился. В тюрьме еще несколько арестованных сидело. Они мне сказали, что я избил русского чиновника. Ну, а что мне было делать?! Суди сам, виноват ли я...

Хан долго смеялся, долго и раскатисто хохотал.

Было уже темно.

Новрузали, голодный, кинул пустые мешки на голодного осла, и, погоняя его кизиловой палкой, поплелся обратно домой.

На третий день хан получил из Эривани телеграмму: «Письмо получил. Квартира готова». Хан собрался и уехал в Эривань.

Через полтора месяца Новрузали вызвали в суд и за оскорбление государственного чиновника при исполнении служебных обязанностей присудили к трем месяцам тюремного заключения. Своей вины Новрузали не признал. Прошел еще месяц, и это известие дошло до Эривани. Узнав о происшедшем, хан немного призадумался...

САМЕД ВУРГУН (САМЕД ЮСИФ ОГЛЫ ВЕКИЛОВ)

Гошма «ГОРЫ»

Средь ваших царственных шатров
Бродил я в упоенье, горы.
Для новых строф, для верных слов
В вас черпал вдохновенье, горы!

Олень пугливою стопой
Спускается на водопой;
Где б ни был – рвусь за ним душой!
Как жить мне в отдаленье, горы?

Кочевью ширь лугов нужна,
Орлу степному –вышина,
А мне скитаться б дотемна
Меж круч порой весенней, горы!

Вершины скал, одна к другой,
Застыли солнечной грядой...
Понят нас силою живой,
Дарят нам дней продленье, горы!

Пусть в этом мире гость поэт,
Но им стоять миллионы лет,
И верь: любви твоей, Самед,
Не предадут забвенью горы?

М. ДЖ. ПАШАЕВ

СИРОТА

В наш город в годы войны пришел с Запада эшелон с беспризорными детьми, а точнее - с сиротами.

Комендант дома, вдова фронтовика, тоже обремененная сиротами, попросила меня:

- Муэллим, приютите на недельку, пока детский дом не отремонтировали, мальчика. Родители его погибли от вражеской бомбы.

Разумеется, я согласился.

И вечером к нам привели большеглазого, тоненького, как струна, мальчика лет шести. Он все время ежился, словно ему было холодно.

Я взял его за руку и повел к столу. Жили мы, конечно, в ту пору скудно, но ухитрились приготовить нашему маленькому гостю лакомые яства: чем богаты, тем и рады... Жена, мои детишки настойчиво потчевали мальчика.

- Не стесняйся, милый, - уговаривал я. - Пообедаешь, пойдешь гулять.

Мальчик сосредоточенно смотрел в тарелку и не шелохнулся.

Я сделал знак, и жена увела детей из комнаты.

В горле мальчика клубился комочек, он сидел неподвижно, не поднимая глаз.

Маленький гость напоминал необыкновенную, полную тоски, горя, книгу, к которой боязно прикоснуться, но которую я обязан прочитать до последней строки.

- Кушай, кушай, все уже прошло, - сказал я. Как я ошибался! Ничего не прошло...

- Дядя, можно мне сначала поплакать, - с усилием сказал мальчик.

Стон душил меня, но я сдержался, неслыханным напряжением воли заставил себя ответить твердо:

- Можно.

Жена, дети, я забились на кухню, а в столовой плакал мальчик, плакал беззвучно, словно уткнувшись лицом в подушку своей детской кровати, содрогаясь худеньким телом.

В этот день я понял, что такое война.

АБДУЛЛА ШАИК (ТАЛЫБЗАДЕ)

Рассказ «ПИСЬМО НЕ ДОШЛО»

1

Был морозный зимний день. Резкий холод обжигал лицо. Словно облекшись в траур, небо закуталось в плотную чадру¹, а горы и долины затянуло белёсым саваном.

На улицах по снежным сугробам, боязливо озираясь, прыгали вороны. Тепло одетые, хорошо обутые люди, ездили в санях или шли пешком. И ничего, кроме удовольствия, не могли им доставить эта леденящая стужа и жестокий мороз. Неужели все несчастья и горести жизни выпадают только на долю неимущих?

Курбан сидел в конце Шайтан-базара², около своего земляка, уличного писца муллы Фарзали, писавшего письма и прошения. Курбан совсем околел от холода. Придерживая одной рукой ворот ветхой рубахи, а другой — отдирая чужак, примёрзший к ноге, он говорил:

— Напиши для меня письмецо, мулла. Ведь сам знаешь, какой я тебе доход приношу. Не прошло и года, как я приехал сюда из родных мест, а уже, считая с этим, заказываю тебе пятое письмо.

Мулла Фарзали потёр околоченные от холода пальцы. Достал клочок бумаги, положил его на колени и, позёвывая, спросил:

— Говори, земляк, что писать?

Курбан ещё ближе подсел к мулле и, словно собираясь поведать ему какую-то тайну, зашептал:

— Во-первых, мулла, напиши от меня привет матери моих детей. Напиши, чтобы она поцеловала за меня в глазёнки Анаханум и Мемиша, берегла их и лелеяла. Потом напиши, что и я, слава Аллаху, жив и здоров. Через Гулама-Рзу посылаю вам пятнадцать рублей, вышлю ещё; пусть ребятишки не терпят нужды ни в чём, а сам я приеду в конце весны.

Окунув перо в чернильницу, мулла принялся было строчить письмо, но чернила так загустели, что писать было нельзя. Мулла Ферзали осторожно плюнул в чернильницу, размешал и принялся писать снова.

Курбан ещё плотнее запахнулся ветхим архалуком¹, прикрыв торчащие иглами волосы на груди, и весь съёжившись от пронизывающего холода, сокрушённо сказал:

— Эх, мулла-ами, к плохому человеку попал я на работу. Колодец прорыт уже больше чем на тридцать сажен². Мы просим, умоляем хозяина: «Ага, прибавь нам плату, — спускаться так глубоко нам не под силу, задыхаемся от газа». Но злодей, сын злодея, упрямится: «Будете, говорит, рыть, как прежде условились, а то не заплачу ни копейки». Трудно, мулла, зарабатывать здесь деньги. Вот у тебя завидное ремесло: напишешь за день десяток писем, прошений, пару молитв — вот и сыт. Да ниспошлёт тебе Аллах свою милость, что ещё хочешь?

Мулла Ферзали спрятал ручку и, захватив кончиками пальцев щепотку песку из выемки в стене, посыпал бумагу.

— Эх, земляк! — отвечал он. — Со стороны драка кажется забавой. Не такая уж приятная у меня работа, как это тебе кажется. Зимой и летом сиди на перекрёстке и жди, когда придёт заказчик. Иной раз уже в глазах начинает темнеть. А бывают дни, когда ни один человек не подходит. Так и сидишь, потирая пустое брюхо.

Мулла поплотнее закутался в свою абуз и принялся громко читать написанное. Курбан весь обратился в слух, сидя с разинутым ртом, словно собираясь проглотить выходящие из уст муллы слова, и потом с заблестевшими от радости глазами сказал:

— Мулла, напиши ещё поклон Гулам-Гусейну, и напиши, чтоб до моего возвращения он присматривал за ребятишками. Пусть он напишет мне, что стало с нашей золотой коровой, и продали ли слепую кобылу. И ещё напиши, что когда приеду, привезу Анаханум и Мемишу по красненькому узорчатому платочку.

Дописав письмо, мулла Фарзали аккуратно сложил его, положил в конверт и, обращаясь к Курбану, спросил:

— Земляк, на чьё имя послать письмо?

Курбан смущённо почесал затылок:

— Напиши, мулла, чтобы вручили матери детей Курбана.

Написав это, мулла протянул конверт Курбану. Дрожащими от радости руками Курбан взял письмо, внимательно оглядел его и хотел было спрятать на груди, но письмо выскользнуло из его продрогших рук, и упало на землю. Быстро нагнувшись, Курбан схватил его и, осторожно очистив от мерзлой земли, бережно спрятал за пазуху. Потом он достал из кармана кисет, вынул гривенник¹ и вложил в руку муллы.

— Возьми, земляк. К байраму я опять приду заказать новое письмо, тебе немало ещё перепадёт от меня.

Он зашагал, крепко прижимая к груди письмо. Ему захотелось поскорее добраться до жилища своего земляка Гулама-Рзы, вручить ему это письмо и передать кое-что на словах.

«Счастливец этот Гулам-Рза, — думал дорогой Курбан. — Сколотил немного денег и теперь поедет повидаться со своими детьми. Как чудесно будет там через месяц! Леса, горы и холмы покроются зеленью, расцветут цветы, деревья оденутся зелёной листвой, вернуться из тёплых краёв ласточки, первые вестницы весны. Скворцы, жаворонки и журавли начнут вить гнёзда. Всюду на полях и огородах закипит работа. Рыбаки

пойдут рыбачить на реки и озёра. Эх, нужда, нужда, что ты сделала со мной? Бросила на чужбину, оторвала от жены и детей».

Слёзы подступили к самому горлу Курбана. На мгновение сердце его замерло, колени задрожали, и, теряя последние силы, он упал на хрустящий снег. Разбитый, изнемогший, с трудом придя в себя, Курбан приподнял голову. Перед глазами его замелькали рассекавшие шумную толпу нарядные сани, довольные, оживлённые лица одетых пешеходов. Курбан окинул эту сытую, самодовольную радость взглядом, полным горечи и ненависти, и с его бескровных губ сорвался тяжёлый вздох. Овладев собой, он медленно поднялся. Поспешно сунул руку за пазуху, убедился, что письмо там, и, ещё сильнее прижав его к груди, зашагал к дому своего земляка.

Дверь была заперта. Грустный и опечаленный, Курбан повернул обратно. Бродя, как помешанный, в густой толпе рабочих, он заметил вдруг другого земляка — Сафара. Курбан подошёл к нему, поздоровался и узнал, что Гулам-Рза ушёл в город.

— Как приедет Гулам-Рза, — попросил Курбан Сафара, — передай ему, что я заходил. Он должен непременно повидаться со мной перед отъездом. Я хочу послать с ним письмо и деньги семье и передать кое-что на словах.

Курбан пошёл домой.

2

— Подлецы! Негодяи! Пока колодец был неглубокий, головой был я, а хвостом они. Куда поворачивал я, туда они и шли. А теперь, когда колодец углублён, они хотят стать головой. Что ни день, то новые требования. Колодец, видите ли, глубок, там пахнет смертью... и всякий тому подобный вздор. Тьфу! Плевать я хотел на таких бесстыжих, бессовестных людей! Плеть, плеть, вот что вам нужно, — кричал, бесновался хозяин колодца Гаджи-Кули.

Сафар и Тариверди опорожнили поднятые из колодца вёдра с песком и, прежде чем снова спуститься, Тариверди сказал хозяину:

— Ай, ага, мы по-прежнему были и остаёмся только хвостами, так сам посуди, сейчас опаснее всего работать в колодце. Ведь совесть тоже хорошая вещь.

— Взгляни, — перебил Сафар товарища, указывая рукой в сторону нефтяных промыслов, — под каждой пядью¹, под каждой горстью этой земли, всюду, куда ни ударишь заступом², наткнёшься на кости рабочих. Отовсюду слышатся их стоны. А тем, кто живёт в этих роскошных высоких домах...

— Ну и подышайте себе, — прерывая Сафара, закричал Гаджи-Кули, топнув ногой. — Вы думаете, деньги наживаются легко? Вы рискуете жизнью, а мы — золотом.

— Сафар, ай Сафар, — дёргал Курбан канат из скважины.

Сафар и Тариверди бросились к колодцу. Свесившись, они заглянули в глубь колодца, но вдруг оглушительный грохот взорвавшегося газа заставил их в ужасе отпрянуть.

— Да простит нас Аллах. И Курбан тоже погиб, — взволнованно прошептали они.

Гаджи-Кули, точно не слыша этих слов, опасливо подошёл к колодцу и осторожно склонился над ним. Глаза его загорелись радостью. Счастливая улыбка заиграла на губах.

— Выход нефти открыт, теперь она забьёт, — крикнул он в диком восторге.

— Гаджи, а как же тело Курбана? — с напускным равнодушием спросил Тариверди. — Так оно останется в колодце?

Слова эти оторвали Гаджи-Кули от радужных мыслей. Он широко раскрыл глаза. Достав из кошелька две двадцатипятирублёвки, он процедил сквозь зубы:

— Тот, кто вытасчит труп, получит пятьдесят рублей.

Тариверди подошёл к колодцу и, увидев поднимавшуюся, клокочущую нефть, сказал:

— Бедный Курбан, ты своими руками вырыл себе могилу.

Гаджи протянул им ассигнации.

— Возьмите, пусть эти пятьдесят рублей будут вашими, разделите их между собой, но смотрите, — про это никому ни слова.

— Ага, — спросил Сафар, — а как быть с одеждой?

Гаджи, опустив руку ему на плечо, ответил:

— Заройте её где-нибудь поблизости.

Когда Сафар и Тариверди, собрав одежду, встряхнули её, на землю упал конверт. На конверте было написано: «Вручить матери детей Курбана».

Сафар и Тариверди сокрушённо разглядывали конверт.

— Бедняга Курбан, письмо не дошло, — вздохнув, горестно прошептали они.

1 Чадра — платок-покрывало, закрывающее женщину от головы до пят. Здесь употреблено в переносном смысле.

2 Шайтан-базар — нефтяной промысел в Сабунчах, где были первые скважины Роберта Нобеля.

3 Архалук — в старину одежда, род короткого кафтана.

4 Сажень — (устар.) русская мера длины, равная трём аршинам (2,13 м.).

5 Аба — плащ.

6 Гривенник - (устар.) монета в десять копеек.

7 Пядь — расстояние от большого пальца до конца указательного.

8 Заступ — большая металлическая лопата.

М. МУШФИК

МАМА.

Перевод: Мария Кондински

Я позвал тебя - и душа занялась
-Мама, - прошептал чуть не плача,
-Мама, мама, твой облик от нас
-Уплывает в тумане маяча...

Мама! Как я о маме в стихах
Расскажу? Не смогу я, не смею...
Все признанья заветные - прах,
И тускнеют слова рядом с нею.

Нет на свете красивой такой
Прелесть матери неповторима
Слово - сердце. За каждой строкой
Только память, как облачко дыма.

Может надо их вырвать и сжечь?
Давит память на сердце живое
Но коснусь - и звучит ее речь
И больнее становится вдвое.

Голос мамы звучит, как свирель
Даже стих - только эхо той песни
Что певала она, мою колыбель
Тихо трогая в спальне тесной

О, Мушвик, ты уже не помнишь её
Ты на мать не успел наглядеться
Шло без матери детство твое
Сиротливое, бедное детство...

Далеко улетели года,
И сиротская грусть отлетела
Жизнь полна и походка тверда
Есть и цель, и любимое дело.

Ты - святыня, которой живу!
Стала мне и стезей и мечтою
И раскрыла ты мне наяву
Небо счастья - всегда золотое.

РАСУЛ РЗА (РАСУЛ ИБРАГИМ ОГЛЫ РЗАЕВ)

КАРАБАХ

Карабах!
Мой Карабах,
Тебя назвали так,
Быть может, потому,
Что кто-то крикнул:
«Кара бах!»,
Снега увидев на твоих горах.
А может быть, тебя
Назвали «Кара баг»
Из-за твоих тенистых родников?
А может, путник, умирающий от жажды,
Взглянув на Кирс, чья белая вершина
Мерцает из-за облаков,
С надеждою воскликнул:
«Кара бах! Гора в снегах!»
С тех пор твое названье — Карабах,
Названье древнее,
Как летопись борьбы народа моего...
И люди, чьи надежды
На жизненных дорогах стали ссадинами,
Натертыми невзгодами и горем,
Сказали так:
Пусть в истории народа
Сотрутся горькие два слова: «Кара бахт!»
Будь счастлива земля,
Взметнувшая на скалах,
Точно знамя, прославленный Шушою Карабах!
А может быть, ты назван так
За то, что черным был платок
На головах у девушек-невест
С глазами, покрасневшими от слез?
А может быть,
Из-за свинцовых туч,
В которых и луна казалась черной?
А может быть, за зерна,
Родившиеся в каплях пота?
Иль за доверье, завоеванное в битвах,
Тебя назвали Карабах!
Я аромат твоей земли
Вдохнул у родника,
В траву лицом упав...
О этот аромат знакомый,
Как запах материнских рук, ее волос,
Как склоны и луга Шуши
И как на переносице сходящиеся брови Натаван!
Но ты не думай, Карабах,
Что только прошлое твое
Мне греет сердце.
Нет! Я горжусь сегодняшним и завтрашним
Твоим рассветом.

Сегодня ты уже не «черная судьба»,
Сегодня на твоих лугах,
В твоих садах —весна.
Благословенный край,
Благословенные твои дороги —
Кочевье бабушки моей и деда,
Что жил с засученными рукавами.
Каких парней с отвагою в сердцах,
Каких красивых девушек
Ты породил
И родишь еще —героев,
Что в мир придут с улыбкой на губах!
Ты — соль Любимых наших песен, их аромат,
Ты в сердце навсегда,
Ты навсегда в глазах,
Родной мой Карабах,
Мой Карабах!!!

ГУСЕИН АББАС ОГЛЫ АББАСЗАДЕ

(1922-2007)

ТОЙ ПОБЕДНОЙ ВЕСНОЙ (Из дневника лейтенанта Гиясзаде)

Рассказ «ЧУЖИЕ»

В пути нас застал дождь. Я сидел в кузове трехтонки. Находившийся в кабине шофера зампотех майор Чикилдин остановил машину и позвал меня:

– Гиясзаде, идите в кабину. Там вы промокнете...

– Троиим будет тесно, товарищ майор. Не беспокойтесь, не сахарный, не растаю.

Майор не отставал. Пришлось спуститься и сесть рядом с ним.

Наш полк получил недельный отдых. Воспользовавшись им, мы намеревались подлатать дыры, подлечить раны, подремонтировать оружие и сейчас ехали с Чикилдиным на склад артвооружения, расположенный близ города Нойштадта, за новыми пушками.

Темнело, а до места назначения было еще далеко. Из-за того, что электролинии, поврежденные во время боев, не действовали, по вечерам повсюду наступала кромешная тьма. В темноте же на дорогах было опасно – группы солдат и офицеров в беспорядке отступающей гитлеровской армии, оставшие от своих частей, прятались в лесах и временами нападали на наши машины. Поэтому, как только стемнело окончательно, Чикилдин предложил сделать остановку и заночевать в первой же встретившейся на пути деревне.

Полуразрушенная, погруженная в полную темноту, деревня казалась безжизненной. Возможно, в ней и не было людей. Но в одном доме за высоким каменным забором в затемненном окне мы заметили слабую полосочку света. Подъехали к нему, постучали в ворота. На наш стук никто не отозвался.

– Стучи сильнее, может, там из-за дождя ничего не слышат, – сказал шоферу Чикилдин и сам начал бить кулаком по доскам ворот.

Прошло немало времени. Наконец во дворе послышались шаги, кто-то подошел к воротам, прислушался к нашему разговору и после этого дрожащим голосом спросил по-немецки что-то. Мы, естественно, ничего не поняли. Шофер громко крикнул:

– Открывай, открывай, не бойся!

Ворота приоткрылись. Майор фонариком осветил двор. Перед нами стояла молодая женщина. То ли от холода, то ли от страха она дрожала и робко смотрела на нас.

– Не бойтесь, фрау, мы не сделаем вам ничего плохого, – сказал я, – только переночуем.

Шофер загнал машину во двор. Закрыв ворота, мы поднялись на веранду.

– Можно войти? – спросил майор.

Получив разрешение хозяйки, мы вытерли ноги о коврик, лежавший у порога, вошли в дом; сняв шинели, уселись у стола.

Я внимательно оглядел комнату. Она, несомненно, служила гостиной. И первое, что привлекло внимание, был необычный беспорядок. Словно кто-то хотел, чтобы комната выглядела беднее, и привел ее в такое состояние. По тому, как стояла мебель, чувствовалось, что часть вещей была торопливо спрятана. Взгляд мой остановился на висящей в позолоченной раме картине. Это была выполненная маслом копия известной работы Хосе де Риберы "Святая Инесса и ангел, укрывающий ее". Картина как бы свидетельствовала, что дом принадлежит не простому бауэру, а представителю деревенской интеллигенции.

Наше появление в доме, как видно, очень встревожило хозяйку, но она старалась не показывать виду, что обеспокоена, заверила нас, что сделает все, чтобы мы могли хорошо отдохнуть, и торопливо принялась собирать разбросанные по полу детские игрушки. Это была видная, красивая женщина лет тридцати пяти с немного увядшим лицом, с тенями под большими карими глазами, с рассыпавшимися по плечам шелковистыми волосами. Иногда она поднимала голову, смотрела на нас, но чувствовалось, что все существо ее в соседней комнате, откуда иногда слышались приглушенные детские голоса и возня. Минут через пять там раздался плач. Женщина побежала туда. Мы немного поболтали о том о сем, затем достали из вещмешка, который шофер принес из машины, хлеб, тушенку и перекусили.

Время шло. Усталость брала свое. Чикилдин поинтересовался у хозяйки, где нам можно переночевать. Женщина постелила в гостиной ковер, принесла несколько матрацев, перин, разложила их на ковре. Мы поблагодарили ее, и она снова ушла к детям.

Майор и водитель, как только легли на свои места, так тут же и уснули. А мне не спалось. Каким бы ни был усталым, я долго не мог уснуть в чужом доме, вертелся с боку на бок, думал, фантазировал, и нередко так продолжалось до утра.

Последние дни мне часто снилась мама, которая проводила на фронт троих сыновей и теперь жила с сестрой в Баку. Я никак не мог забыть ее ласкового лица. И сейчас, в чужой стране, в этом чужом доме, я снова вспоминал ее, вспоминал, с какой заботливостью стелила мне постель она.

Было уже далеко за полночь. Стояла глубокая тишина. И вдруг в соседней комнате что-то тяжело грохнулось об пол. Мы все трое вскочили на ноги, схватились за оружие. Постучали в дверь соседней комнаты. Никто не ответил. Мы приоткрыли дверь и вошли. Хозяйка держала на руках мальчишку. Он плакал. Видно, упал, сонный, с кровати и сильно ушибся. Проснулись и другие дети – девочка и мальчик лет пяти. Съежившись, они сидели на голых пружинных матрацах своих кроваток и испуганно таращились на нас – чужих дядей в чужой для них форме.

Я удивился: "А где же их постели?" И в этот момент майор, словно поняв, о чем я думаю, спросил:

– Гасан, ты обратил внимание, на чем спят ребята?

Мы тут же вернулись к себе и посмотрели на свои перины. Да, сомнений не оставалось – вечером хозяйка, из-за того что других у нее не было, постелила нам постели детей.

– Побоялась, что рассердимся, – нашел я объяснение тому, что сделала хозяйка.

Майор сгреб в охапку свой матрац и перину, отнес в соседнюю комнату, сложил на одну из кроватей.

– Нам это совсем ни к чему. Люди военные, можем и на голом полу переспать.

Мы с шофером последовали его примеру.

– Постелите детям. Пусть спят как всегда, – сказал женщине майор. – У них вон глаза слипаются.

То, как мы поступили, удивило и тронуло хозяйку.

Опустив мальчика на пол, она вытерла набежавшие слезы, два раза повторила «данке», "данке" и поклонилась.

Мы вернулись в гостиную.

– Ну, а теперь давайте спать по-фронтовому, – сказал майор, подкладывая под голову полевую сумку и накрываясь шинелью. – Для солдата нет одеяла надежней шинели.

Утром я проснулся раньше всех, умылся и вышел на террасу. Дождь, ливший всю ночь, прекратился. Воздух был напоен запахами садовых цветов. По небу плыли белые облака. Я спустился во двор, закурил папиросу, затянулся. Тут из погреба послышался шорох. Через некоторое время в его дверях показалась хозяйка с охапкой дров на руках. Увидев меня, она приветливо поздоровалась! Сейчас она совсем не была похожа на ту испуганную нашим поздним визитом женщину.

– Лейтенант, вы что так рано проснулись? Неудобно было спать? – С этими словами во двор вышел Чикилдин. Наклоняясь и разгибаясь, он стал делать зарядку.

Утренняя свежесть давала о себе знать. Я застегнул ворот кителя. И тут в другом конце деревни послышался грохот танков. Судя по всему, они направлялись к фронту. Майор распрямылся, прислушался к грохоту и стал торопить нас:

– Шевелитесь, ребята! Давайте скорее позавтракаем – ив путь! К вечеру надо быть в части!

Когда мы вернулись в дом, все дети уже проснулись и оделись. Увидев нас, они испуганно попрятались по углам. Я погладил по головке светловолосую девчушку, которая пряталась за дверью, и спросил:

– Ты от кого это прячешься, чертенок? Она, не поняв, что я спросил, расплакалась.

– Ну, чего ты испугалась, глупая? Не плачь... – Я взял со стола несколько кусочков сахара, приготовленного шофером к завтраку, и дал ей.

Увидев это, к нам потянулись и другие ребята. Майор сгреб в горсть весь сахар и стал раздавать его малышам.

– Пусть едят, – сказал он. – Дети любят сладкое, а наверное, кроме дурацкого сахара, давно ничего не видели.

Мальши чутко улавливают доброту. Через минуту, уже ничего не боясь, они залезли к нам на колени и пытались что-то рассказать, лепеча по-своему, но не настолько успели мы усвоить немецкий, чтобы понять их.

Мы не знали, кто их отец и где он сейчас, и не стали спрашивать об этом хозяйку. Да это было и не суть важно – в нас все росло и росло чувство жалости к ребятишкам.

Глядя волосенки сидящей у меня на коленях девочки, я вспоминал увиденное мной, когда мы освобождали Крым.

...Внезапной атакой наша часть выбила немцев из деревни, но когда мы вошли в нее, на улице, во дворах не увидели ни единой души. Наш командир батареи приказал солдатам внимательно осмотреть дома – вдруг там прячутся фашисты. Бойцы тщательно проверили все закоулки, немцев нигде не обнаружили, но на краю деревни нашли расстрелянных фашистами молодую женщину и троих детей. В одной из расстрелянных – девочке лет шести – еще теплилась жизнь, надо было оказать ей немедленную помощь. Санинструктор взял свою сумку, и мы помчались на окраину.

То, что мы увидели, прибежав туда, потрясло нас. Фашисты расстреляли детей в одной комнате, а мать – в другой. Можно было предположить, что они пытались изнасиловать женщину, выгнали и заперли детей, чтобы те им не мешали. Женщина, видно, отчаянно сопротивлялась – платье ее было изорвано, лицо покрывали кровоподтеки, на обнаженной груди краснели запекшейся кровью три пулевых метки...

Мы вырыли неподалеку от дома могилу и похоронили расстрелянных, а умирающую девочку отправили в медсанбат. На следующий день нам сообщили, что, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось...

– Так... поели, попили, отдохнули, теперь поехали. – сказал Чикилдин и поднялся.

Водитель хотел было спрятать в вещмешок оставшуюся нетронутой буханку хлеба, банку тушенки, но майор остановил его руку:

– Пусть останется ребятишкам. А мы себе найдем что-нибудь...

Шофер открыл ворота и стал заводить машину. Мы уселись в нее. Хозяйка вместе с детьми вышла во двор. Когда машина выехала за ворота, нам вслед замахали детские ручонки, раздалось ребячье "Ауфвидерзеен! Ауф-видерзеен!".

Нас провожали, как провожают близких или родных людей...

Б. ВАГАБЗАДЕ

ПО ЭТУ СТОРОНУ АРАКСА...

(Перевод Р. Казаковой)

Вот здесь, по эту сторону Аракса, жил мой отец, жил дед,
живу и я.
Но по законам сердца, крови, братства тот берег – тоже родина
моя.
Она пребудет, как была, бесценной. Я ей принадлежу, её пою.
Я никогда её не видел целой, раздвоенную родину мою.
Лети, моя восторженная ласка! Моя неутолимая печаль,
струись, смешавшись с водами Аракса, и к берегу далёкому
причалъ.
Давным-давно на родину с чужбины смотрел грустящим
взором Физули.
А я...
Взираю с родины любимой на родину,
которая вдали.

С. РУСТАМХАНЛЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАРАБАХ

(Отрывки из поэмы)

VI

Солдат идёт брать крепость, ступает налегке,
Взбирается по скалам, лишь нож в его руке.
На острие его клинка сиянье пары глаз,
А сколько недругов пронзит, блеснув в бою не раз!

Трусливый враг, коварный враг,
Тебе неведом честный бой!
Пусть потухнет твой очаг,
Когда польстишься на чужой!

В Шуше кичился, пировал,
В чужом краю яллы плясал,
Куда же делось хвастовство,
Когда расплаты час настал?!

Вагиф красавиц воспевал,
Что гордо плыли по равнине.
Панах хан здесь повелевал!
Тебя ж и не было в помине!

Крепка, неуязвима крепость,
И птице не домчать крылами,
Завоеватели напрасно
Грозили крепости войсками.

Певучий соловей – Шуша,
Бюльбюля тонкая душа.
Раздастся эхом чахаргях,
И славен Узеир в веках!

Здесь воздух сладостен, как мёд,
И в каждом камешке живёт
Любовь к земле родной!
Ни пяди не дадим врагу, встав за неё горой!

Поэт в сердцах оставит след,
И пусть пройдёт немало лет,
Потомки вечно будут чтить
Живую летопись побед!

VII

Идёт солдат, вгрызаясь в сумрак ночи,
Наутро крепость обретёт свободу.
В душе солдата дух отцов клокочет,
Бой предстоит ему к восходу...

Сквозь грохот канонад, пробив преграды,
Войдёт он в крепость, будто лучик света,
Избавит крепость от гнилого смрада
И разнесётся клич его победный!

В Лачине, по дороге в Ханкенди
Повсюду изгороди, танков вереницы,
Но мой солдат крылат, гляди,

Он на врага бесстрашно мчится.

А что же враг? Глядит в недоумении,
От удивления опешил.
К приспешникам взывает он в смятении,
Ещё не верит, что в бою повержен.

И весь затрепетал от страха,
И тотчас спесь с него слетела,
Забился, будто в клетке птаха,
Лицо от горя почернело.

Гляжу сквозь годы. Помнятся черты,
Врагом разрушенного края,
Кровоточащей раны Дашалты
Боль голосит, не утихая.

Там полегли бойцы – сыны Отчизны,
Став жертвой каверз и предательств,
Глядят сквозь годы с укоризной,
Всё ожидая разбирательств.

На перекрёстке, в смутную эпоху,
Когда страна казалась полем боя, –
Не знал народ, что хорошо, что плохо,
И каждый мнил себя героем.

Минули годы, пой душа, взыграй!
Весть о победе всюду раздаётся!
Мы возвратились в отчий край,
В тот край, что Родиной зовётся!

А.С.ПУШКИН

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Береги честь смолоду.
Пословица.

ГЛАВА I СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

— Был бы гвардии он завтра ж капитан.
— Того не надобно; пусть в армии послужит.
— Изрядно сказано! пускай его потужит...
Да кто его отец?

Княжнин.

Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя В., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу, — ворчал он про себя, — кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!» Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour etre outchitel ¹, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки*, т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам*, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, — и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю: Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание. Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменялась. Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычай и обычай, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул

календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго. Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?» — Да вот пошел семнадцатый годок, — отвечала матушка. — Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Гарасимовна, и когда еще... «Добро, — прервал батюшка, — пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни». Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого. Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги. — Не забудь, Андрей Петрович, — сказала матушка, — поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями. — Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь. — К какой стати стану я писать к князю Б.? — Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши? — Ну, а там что? — Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк. — Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет ляжку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его паспорт? подай его сюда. Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол и начал свое письмо. Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством». Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастьем. Но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами. В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошел в биллиардную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. «Это, — говорил он, — необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко — чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом — вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке». Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир. Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе.

«Что это, сударь, с тобою сделалось? — сказал он жалким голосом, — где ты это нагулился? Ахти господи! отроду такого греха не бывало!» — «Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь, — ты, верно, пьян, пошел спать... и уложи меня». На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андреич, — сказал он мне, качая головою, — рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволили брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: «Мадам, же ву при, водкю». Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!» Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять, когда, бывало, приметя за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреич, какво подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?» В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам

Иван Зурин».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был *и денег, и беля, и дел моих рачитель*, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» — спросил изумленный Савельич. «Я их ему должен», — отвечал я со всевозможной холодностию. «Должен! — возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление, — да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам». Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают». Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич, — произнес он дрожащим голосом, — не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, кроме как в орехи...» — «Полно врать, — прервал я строго, — подавай сюда деньги или я тебя взашей прогоню». Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С беспокойной совестью и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

чтобы стать учителем (франц.).

ГЛАВА II ВОЖАТЫЙ

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня.

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я

вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся». — Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким вздохом. — Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только!.. Как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет. Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!» Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал: — Барин, не прикажешь ли воротиться? — Это зачем? — Время ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу. — Что ж за беда! — А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.) — Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба. — А вон — вон: это облачко. Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран. Я слышал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее. Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегла небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»... Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка, — невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бранить. Савельич за него заступился. «И охота было не слушаться, — говорил он сердито, — воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я, — смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место, — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек». Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком. — Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи, не знаешь ли где дорога? — Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал дорожный, — да что толку? — Послушай, мужичок, — сказал я ему, — знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега? — Сторона мне знакомая, — отвечал дорожный, — слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да, вишь, какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам. Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай». — А почему мне ехать вправо? — спросил ямщик с неудовольствием. — Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой. — Ямщик казался мне прав. «В самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жило недалече?» — «А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мой бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды. Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам. Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу:

матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише, — говорит она мне, — отец болен при смерти и желает с тобою проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?» — «Все равно, Петруша, — отвечала мне матушка, — это твой посажёный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали». — Куда приехали? — спросил я, протирая глаза. — На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся. Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казачья шапка. Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать. — Где же вожатый? — спросил я у Савельича. «Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?» — «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечер у целовальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость, — прикажите поднести стакан вина; чай не наше казачье питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, — сказал он, — опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопля клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?» «Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечеру звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте». — «Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати. Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиреного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по-тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решил убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый. Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку! — сказал он, — за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. «Хорошо, — сказал я хладнокровно, — если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп». — Помилуй, батюшка Петр Андреич! — сказал Савельич. — Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке. — Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалуется шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться. — Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Савельич сердитым голосом. — Ты

видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища.— Прощу не умничать, — сказал я своему дядьке, — сейчас неси сюда тулуп.— Господи владыко! — простонал мой Савельич. — Заячий тулуп почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому! Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе. Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой! — сказал он. — Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»... Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. «ваше превосходительство не забыло»... гм... «и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каролинку»... Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ? «Теперь о деле... К вам моего повесу»... гм... «держат в ежовых рукавицах»... Что такое ешovy рукавиц? Это, должно быть, русска поговорк... Что такое «дершать в ешовых рукавицах?» — повторил он, обращаясь ко мне.— Это значит, — отвечал я ему с видом как можно более невинным, — обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.— Гм, понимаю... «и не давать ему воли»... нет, видно ешovy рукавицы значит не то... «При сем... его паспорт»... Где же он? А, вот... «отписать в Семеновский»... Хорошо, хорошо: все будет сделано... «Позволишь без чинов обнять себя и... старым товарищем и другом» — а! наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, батюшка, — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, — все будет сделано: ты будешь офицером переведен в *** полк, и, чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня». «Час от часу не легче! — подумал я про себя, — к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В *** полк и в глухую крепость на границу киргиз-кайсацких степей!..» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

ГЛАВА III КРЕПОСТЬ

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку:
Зарядим картечью пушку.

Солдатская песня.

Старинные люди, мой батюшка.

Недоросль.

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь

мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви. Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, — отвечал инвалид, — наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, — сказала она, — он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, — сказал он, — вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неумолимый вопрошатель. «Полно врать пустяки, — сказала ему капитанша, — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...). А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя уекли в наше захоlustье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иванович вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иванович и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет». В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимиыч! — сказала ему капитанша. — Отведи господину офицеру квартиру, да почище». — «Слушаю, Василиса Егоровна, — отвечал урядник. — Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» — «Врешь, Максимиыч, — сказала капитанша, — у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимиыч, все ли благополучно?» — «Всё, слава богу, тихо, — отвечал казак, — только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды. — Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку. — Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимиыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимиыч отведет вас на вашу квартиру. Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоящую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?» На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня, — сказал он мне по-французски, — что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта,

и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе. Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фронт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, — прибавил он, — нечего вам смотреть». Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! — сказала комендантша. — Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русскими волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенную дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де, ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? — сказала ему жена. — Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». — «А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузмич, — я был занят службой: солдатушек учил». — «И, полно! — возразила капитанша. — Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол». Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! — сказала она, — ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековой невестою». Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, — сказал я довольно некстати, — что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». — «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», — отвечал я. «Пустяки! — сказал комендант. — У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». — «И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» — «Привычка, мой батюшка, — отвечала она. — Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завизжу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут». — Василиса Егоровна прехрабрая дама, — заметил важно Швабрин. — Иван Кузмич может это засвидетельствовать. — Да, слышь ты, — сказал Иван Кузмич, — баба-то не робкого десятка. — А Марья Ивановна? — спросил я, — так же ли смела, как и вы? — Смела ли Маша? — отвечала ее мать. — Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки. Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

ГЛАВА IV ПОЕДИНОК

— Ин изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!

Княжнин.

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечною. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро

перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в неопозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился. Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею во всем околотке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал. Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван внезапным междуусобием. Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!
Но глаза, что мя пленили,
Всемиутно предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.
Ты, узнав мои напасти,
Сжалься, Маша, надо мной,
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь? — спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но, к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша. — Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду. — Потому, — отвечал он, — что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплетцы. Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою. «Посмотрим, — сказал он, — сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?» — Не твое дело, — отвечал я нахмуясь, — кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок. — Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня, — но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками. — Что это, сударь, значит? Изволь объясниться. — С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег. Кровь моя закипела. — А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с трудом удерживая свое негодование. — А потому, — отвечал он с адской усмешкою, — что знаю по опыту ее нрав и обычай. — Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве, — ты лжешь самым бесстыдным образом. Швабрин переменялся в лице. — Это тебе так не пройдет, — сказал он, стиснув мне руку. — Вы мне дадите сатисфакцию. — Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его. Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреич! — сказал он, увидя меня, — добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свои единственный глаз. «Вы изволите говорить, — сказал он мне, — что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить». — Точно так. — Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на воротах не виснет. Он вас

побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить? Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно, — сказал Иван Игнатьич, — делайте как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся». Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша, — сказал он. — Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодейство, противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры...» Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступить. Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунденты, — сказал он мне сухо, — без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так, — сказал он мне с довольным видом, — худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров». — Что, что, Иван Игнатьич? — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты, — я не вслушалась. Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь. — Иван Игнатьич, — сказал он, — одобряет нашу мировую. — А с кем это, мой батюшка, ты ссорился? — Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем. — За что так? — За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна. — Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось? — Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затынул мою любимую:

Капитанская дочь,

Не ходи гулять в полночь...

Вышла разлада. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось. Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее. Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришел домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу. На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать, — сказал он мне, — надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию. Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки!. На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?» Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам, — сказал он ей хладнокровно, — не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело». — «Ах! мой батюшка! — возразила комендантша, — да разве муж и жена не один дух и единая плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассадим их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у бога прощения да каялись перед людьми». Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта по-видимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было, — сказал я ему сердито, — доносить

на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» — «Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил, — отвечал он, — Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может», — сказал я ему. «Конечно, — отвечал Швабрин, — вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» И мы расстались как ни в чем не бывали. Возвратясь к коменданту, я, по обыкновению своему, подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорой с Швабриным. «Я так и обмерла, — сказала она, — когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестью и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иванович». — А почему же вы так думаете, Марья Ивановна? — Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Ивановича. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх. — А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравится ли вы ему, или нет? Марья Ивановна заикнулась и покраснела. — Мне кажется, — сказала она, — я думаю, что нравлюсь. — Почему же вам так кажется? — Потому что он за меня сватался. — Сватался! Он за вас сватался? Когда же? — В прошлом году. Месяца два до вашего приезда. — И вы не пошли? — Как изволите видеть. Алексей Иванович, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие благополучия! Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая. Я дожидался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? — сказал мне Швабрин, — за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Опустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевае, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегавшего ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.

ГЛАВА V ЛЮБОВЬ

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.

Песня народная.

Буде лучше меня найдешь, позабудешь.
Если хуже меня найдешь, вспомянешь.

То же.

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли

мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрипнула дверь. «Что? каков?» — произнес пошепту голос, от которого я затрепетал. «Все в одном положении, — отвечал Савельич со вздохом, — все без памяти вот уже пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» — сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» — сказала она. «Слава богу, — отвечал я слабым голосом. — Это вы, Марья Ивановна? скажите мне...» Я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнился! опомнился! — повторял он. — Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич, — сказала она. — Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном. Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна, — сказал я ей, — будь моею женою, согласись на мое счастье». Она опомнилась. «Ради бога успокойтесь, — сказала она, отняв у меня свою руку. — Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастье воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла все мое существование. С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители, конечно, рады будут ее счастью. «Но подумай хорошенько, — прибавила она, — со стороны твоих родных не будет ли препятствия?» Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался, но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на нее смотреть как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне и решился, однако, писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви. Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается да раскается». Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрину, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника. Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии. Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и с первых строк увидел, что все дело пошло к черту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановой дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добратся да за проказы твои проучить тебя путем как мальчишку, несмотря на твой офицерской чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостойн, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоём поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость.

Отец твой А. Г.»

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поспешил, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала; но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: «Видно тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: ты и мать мою хочешь уморить». Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь, — сказал он, чуть не зарыдав, — что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» — «Что ты сделал? — отвечал я. — Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?» — «Я? писал на тебя доносы? — отвечал Савельич со слезами. — Господи царю небесный! Так изволь-ка прочитать, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили.

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил, — повторял он, — вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!» Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось? — сказала она, увидев меня. — Как вы бледны!» — «Все кончено!» — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно, мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...» — «Этому не бывать! — вскричал я, схватив ее за руку, — ты меня любишь; я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит...» — «Нет, Петр Андреич, — отвечала Маша, — я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...» Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой. Я сидел, погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, сударь, — сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги, — посмотри, доносчик ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить сына с отцом.» Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович,
отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что-де стыдно мне не исполнять господских приказаний; а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испугать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла, и за ее здоровье бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цирюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава богу, здоров, и про него, кроме хорошего, нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то быть молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш

Архип Савельев.

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным. С той поры положение мое

переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичом виделся я только, когда того требовала служба. Со Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

ГЛАВА VI ПУГАЧЕВЩИНА

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будем сказывать.

Песня.

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года. Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства беспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями. Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков. Обращаюсь к своему рассказу. Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:

«Господину коменданту Белогорской крепости
Капитану Миронову.

По секрету.

Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

— Принять надлежащие меры! — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. — Слышь ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно. Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. «Как ты думаешь, чем это кончится?» — спросил я его. «Бог знает, — отвечал он, — посмотрим. Важного покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию. Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева

разнеслась по крепости. Иван Кузмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной. Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать. Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он нимало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастье, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником». — «А для чего ж было тебе запирать Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузмич не был приготовлен к такому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но, зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать. На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатъича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления? — думала комендантша, — уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатъича, с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство. Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и оказала, качая головою: «Господи боже мой! Вишь какие новости! Что из этого будет?» — И, матушка! — отвечал Иван Игнатъич. — Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест! — А что за человек этот Пугачев? — спросила комендантша. Тут Иван Игнатъич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому. Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями. Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать дальше побоялся. В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Посланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатъич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот уж тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников. Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного. «Слышь ты, Василиса Егоровна, — сказал он ей покашливая. — Отец Герасим получил, говорят, из города...» — «Полно врать, Иван Кузмич, — перервала комендантша, — ты, знать, хочешь собрать совещание да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих не проведешь!» Иван Кузмич вытарасил глаза. «Ну, матушка, — сказал он, — коли ты уже все знаешь, так, пожалуй, оставайся; мы потолкуем и при тебе». — «То-то, батько мой, — отвечала она, — не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами». Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не сопротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести

опасное впечатление на умы простых людей. «Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?» — Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузмич. — А слышно, злодей завладел уж многими крепостями. — Видно, он в самом деле силен, — заметил Швабрин. — А вот сейчас узнаем настоящую его силу, — сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца да прикажи Юлаю принести сюда плетей. — Пстой, Иван Кузмич, — сказала комендантша, вставая с места. — Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться. Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить. Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого роста, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе! — сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. — Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Ты, знать, не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?» Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь? — продолжал Иван Кузмич, — али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость?» Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова. — Якши, — сказал комендант, — ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его! Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся, — тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок. Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений. Все были поражены. «Ну, — сказал комендант, — видно, нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем». Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным. — Что это с тобою сделалось? — спросил изумленный комендант. — Батюшки, беда! — отвечала Василиса Егоровна. — Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди злодеи будут сюда. Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло. — Послушайте, Иван Кузмич! — сказал я коменданту. — Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть. Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей: — А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками? — И, пустое! — сказала комендантша. — Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся! — Ну, матушка, — возразил Иван Кузмич, — оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость? — Ну,

тогда... — Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.— Нет, Василиса Егоровна, — продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. — Маше здесь оставаться не гоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром, что ты старуха, а посмотри, что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом.— Добро, — сказала комендантша, — так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.— И то дело, — сказал комендант. — Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим; да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?— У Акулины Памфиловны, — отвечала комендантша. — Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи владыко, до чего мы дожили! Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застаю Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она мне со слезами. — Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее. «Прощай, ангел мой, — сказал я, — прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.

ГЛАВА VII ПРИСТУП

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго
И ни рангу себе высокого;
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекладинку кленовую,
Еще петельку шелковую.

Народная песня.

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту. Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы? — сказал Иван Игнатьич, догоняя меня.— Иван Кузмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел». — «Уехала ли Марья Ивановна? — спросил я с сердечным трепетом». — «Не успела, — отвечал Иван Игнатьич, — дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!» Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетасили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростию необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости,

разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалось, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди brave и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела. Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. «Ну, что? — сказала комендантша. — Каково идет баталья? Где же неприятель?» — «Неприятель недалече, — отвечал Иван Кузмич. — Бог даст, все будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?» — «Нет, папенька, — отвечала Марья Ивановна, — дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты. В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили, и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!» «Вот я вас! — закричал Иван Кузмич. — Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники, видимо, приготавливались к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна! — сказал комендант. — Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива ни мертва». Василиса Егоровна, присмирившая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу». Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорей». (Маша кинулась ему на шею и зарыдала.) «Поцелуемся ж и мы, — сказала, заплакав, комендантша. — Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила!» — «Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху. — Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел вослед Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко, — сказал комендант, — будет приступ...» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечьхватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята, — сказал комендант, — теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!» Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите? — закричал Иван Кузмич. — Умирать так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот уж вам будет, государевым послушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же. Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболя шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его

показалось мне знакомо. Казачьи старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приблизились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?» — спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича, вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатъича. «Присягай, — сказал ему Пугачев, — государю Петру Феодоровичу!» — «Ты нам не государь, — отвечал Иван Игнатъич, повторяя слова своего капитана. — Ты, дядюшка, вор и самозванец!» Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника. Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неопisanному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», — повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной! — говорил бедный дядька. — Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует», — говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!» — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич! — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. — Не упрямясь! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии. Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Все это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои! — кричала бедная старушка. — Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи! — закричала она в исступлении. — Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» — «Унять старую ведьму!» — сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

ГЛАВА VIII НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

Незванный гость хуже татарина.
Пословица.

Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями. Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по

маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкаф был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.— Ах, Петр Андреич! — сказала она, сплеснув руками. — Какой денек! какие страсти!..— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо, — что Марья Ивановна? — Барышня жива, — отвечала Палаша. — Она спрятана у Акулины Памфиловны.— У попадьи! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! да там Пугачев!..Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадьа вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.— Ради бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.— Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, — отвечала попадьа. — Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава богу, все прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «Племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя». — «А молода твоя племянница?» — «Молода, государь». — «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». — У меня сердце так и екнуло, да нечего было делать. — «Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости». — «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! — и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастью, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать. А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то. — В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. — Ступайте себе домой, Петр Андреич, — сказала она, — теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что будет то будет; авось бог не оставит. Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава богу! — вскричал он, увидя меня. — Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? все у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»— Нет, не узнал; а кто ж он такой?— Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новешенький; а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя! Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!— Не изволишь ли покушать? — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. — Дома ничего нет; пойду пошарю да что-нибудь тебе изготовлю. Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения. Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что-де «великий государь требует тебя к себе». — «Где же он?» — спросил я, готовясь повиноваться.— В комендантском, — отвечал казак. — После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его. Я не почел нужным оспаривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен. Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня

в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановной. Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобраных изменников. «А, ваше благородие! — сказал Пугачев, увидя меня. — Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъясляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы, — сказал Пугачев, — затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! Начинай!» Сосед мой затянул тонким голосом заунывную бурлацкую песню и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне доброму молодцу думу думати.
Что завтра мне доброму молодцу в допрос идти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всеё правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищ, то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом. Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз. Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему. — Что, ваше благородие? — сказал он мне. — Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват, — продолжал он, — но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием? Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться. — Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо. Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев

мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостью человеческою. Я отвечал Пугачеву: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смысленный: ты сам увидел бы, что я лукавствую». — Кто же я таков, по твоему разумению? — Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку. Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?» — Нет, — отвечал я с твердостью. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург. Пугачев задумался. «А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?» — Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — бог тебе судья; а я сказал тебе правду. Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, — сказал он, ударя меня по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит». Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо. Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горюющего по моему отсутствию. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыко! — сказал он перекрестившись. — Чем свет оставим крепость и пойдем куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой». Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.

ГЛАВА IX РАЗЛУКА

Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться,
Грустно, будто бы с душой.

Херасков

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тела комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай, — сказал он мне. — Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детской любовью и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие! — Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрину: — Вот вам, детушки, новый командир: слушайте его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было посадить его. В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» — спросил важно Пугачев.

«Прочитай, так изволишь увидеть», — отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь? — сказал он наконец. — Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?» Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух», — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее: — «Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей». — Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачев. — Прикажи читать далее, — отвечал спокойно Савельич. Обер-секретарь продолжал: — «Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей. Штаны белые суконные на пять рублей. Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами на десять рублей. Погребец с чайною посуду на два рубля с полтиною...» — Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами? Савельич крикнул и стал объясняться. — Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями... — Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев. — Виноват: обмолвился, — отвечал Савельич. — Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать. — Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал: — «Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге четыре рубля. Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей. Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей». — Это что еще! — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами. Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? — вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу. — Глупый старик! Их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками... Заячий тулуп! Я-те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?» — Как изволишь, — отвечал Савельич, — а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать. Пугачев был, видно, в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления. Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь, — отвечал Савельич, — смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет». Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреде. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, незащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие утешали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте, — говорила мне попадья, провожая меня, — прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя». Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал. Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще, — примолвил, запинаясь, урядник, — жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою; простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!» — «Что у меня за пазухой-то побрякивает? — возразил урядник, нимало не смутясь. — Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина». — «Добро, — сказал я, прерывая спор. — Благодарю от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку». — «Очень благодарен, ваше благородие, — отвечал он, поворачивая свою лошадь, — вечно за вас буду бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду. Я надел тулуп и сел верхом,

посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь, — сказал старик, — что я недаром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да все же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

ГЛАВА X ОСАДА ГОРОДА

Заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.
За станом повелел соорудить раскат
И, в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град.

Херасков.

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала. Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов! — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. — Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай! — заметил генерал. — Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкой?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко, и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим, — сказал он. — Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни». Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала. Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа, — продолжал он, — надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно* или *оборонительно*? Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно... Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик! — продолжал он, обращаясь ко мне. — Извольте объяснить нам ваше мнение». Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия. Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагосклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Господин прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных; это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание голосов. Господин коллежский советник! скажите нам ваше мнение!» Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно». — Как же так, господин коллежский советник? — возразил изумленный генерал. — Других способов тактика не представляет: движение оборонительное или наступательное... — Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно. — Эх-хе-хе! мнение ваше весьма

благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы... — И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам. — Мы еще об этом подумаем и потолкуем, — отвечал генерал. — Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку. Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек, за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь: — Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен, ибо мнение сие основано на всех правилах здоровой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает. Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства. — Но, государи мои, — продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму, — я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать. Чиновники, в свою очередь, насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных. Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приблизился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады. Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была губительна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городская конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием! Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: — Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас бог милует? Я взглянул и узнал нашего урядника. Я нескazanно ему обрадовался. — Здравствуй, Максимыч, — сказал я ему. — Давно ли из Белогорской? — Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо. — Где ж оно? — вскричал я, весь так и вспыхнув. — Со мною, — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. — Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить. — Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозитя, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка

Петр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня, бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота *Марья Миронова*».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия прищпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал. Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода.— Ваше превосходительство, — сказал я ему, — прибегаю к вам как к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет о счастии всей моей жизни.— Что такое, батюшка? — спросил изумленный старик. — Что я могу для тебя сделать? Говори.— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость. Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).— Как это? Очистить Белогорскую крепость? — сказал он наконец.— Ручаюсь вам за успех, — отвечал я с жаром. — Только отпустите меня.— Нет, молодой человек, — сказал он, качая головою. — На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация... Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать.— Дочь капитана Миронова, — сказал я ему, — пишет ко мне письмо: она просит помощи; Швабрин принуждает ее выйти за него замуж.— Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm ¹, и если попадетсЯ ко мне в руки, то я велю его судить в двадцать четыре часа, и мы расстреляем его на парапете крепости! Но покамест надобно взять терпение...— Взять терпение! — вскричал я вне себя. — А он между тем женится на Марье Ивановне!..— О! — возразил генерал. — Это еще не беда: лучше ей быть покамест женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица.— Скорее соглашусь умереть, — сказал я в бешенстве, — нежели уступить ее Швабрину!— Ба, ба, ба, ба! — сказал старик. — Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоприятна; я не могу взять ее на свою ответственность. Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем она состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

¹

плут (нем.).

ГЛАВА XI МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА

В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —
Спросил он ласково.

А. Сумароков.

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого». Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-навсего денег? «Будет с тебя, — отвечал он с довольным видом. — Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич, — сказал я ему, — отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость». — Батюшка Петр Андреич! — сказал добрый дядька дрожащим голосом. — Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны. Но намерение мое было твердо принято.— Поздно рассуждать, — отвечал я старику. — Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...— Что ты это, сударь? — прервал меня Савельич. — Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть

пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтобы я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану. Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга. Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди... Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадет барское дитя!» Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами: это был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутой, пришпорил лошадь и поскакал. Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я повернул лошадь и отправился его выручать. Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка, — прибавил он, — волен приказать: сейчас ли вас повесить, али дождаться свету божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством. Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец, — сказал один из мужиков, — сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дождался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай: наш батюшка велел впустить офицера». Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, — все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! — сказал он мне с живостию. — Как поживаешь? Зачем тебя бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» — спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них, — сказал мне Пугачев, — от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, тщедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй — Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?» Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева: — Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают. Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? — закричал он. — Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?» — Швабрин виноватый,

— отвечал я. — Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться. — Я проучу Швабрина, — сказал грозно Пугачев. — Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу. — Прикажи слово молвить, — сказал Хлопуша хриплым голосом. — Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору. — Нечего их ни жалеть, ни жаловать! — сказал старичок в голубой ленте. — Швабрина сказнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров. Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие? — сказал он мне подмигивая. — Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?» Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно. — Добро, — сказал Пугачев. — Теперь скажи, в каком состоянии ваш город. — Слава богу, — отвечал я, — все благополучно. — Благополучно? — повторил Пугачев. — А народ мрет с голоду! Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов. — Ты видишь, — подхватил старичок, — что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно. Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, Хлопуша стал противоречить своему товарищу. — Полно, Наумыч, — сказал он ему. — Тебе бы все душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести? — Да ты что за угодник? — возразил Белобородов. — У тебя-то откуда жалость взялась? — Конечно, — отвечал Хлопуша, — и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костливый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье, да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором. Старик отворотился и проворчал слова: «Рваные ноздри!»... — Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша. — Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородинки не вырвал! — Господа енаралы! — провозгласил важно Пугачев. — Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной: беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь. Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге». Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен, — сказал он, мигая и прищуриваясь. — Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?» — Она невеста моя, — отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину. — Твоя невеста! — закричал Пугачев. — Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! — Потом, обращаясь к Белобородову: — Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем. Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами. Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать. Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противуречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку. Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилося. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела... «Стой! стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый, — и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев

велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреич! — кричал дядька. — Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» — «А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев. — Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок». — Спасибо, государь, спасибо, отец родной! — говорил Савельич усаживаясь. — Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о заячем тулупе и упоминать уж не стану. Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастью, самозванец или не расслышал, или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге. Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянную. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что станет с Марьей Ивановной? Холод пробежал по моему телу, и волосы становились дыбом... Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом: — О чем, ваше благородие, изволил задуматься? — Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя. — Что ж? — спросил Пугачев. — Страшно тебе? Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь. — И ты прав, ей-богу прав! — сказал самозванец. — Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился, — прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать, — помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья. Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспаривать и не отвечал ни слова. — Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачев, помолчав немного. — Да, говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать. Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. — Да! — сказал он с веселым видом. — Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться? Хвастливость разбойника показалась мне забавна. — Сам как ты думаешь? — сказал я ему, — управился ли бы ты с Фридериком? — С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву. — А ты полагаешь идти на Москву? Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса: — Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо остро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою. — То-то! — сказал я Пугачеву. — Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни? Пугачев горько усмехнулся. — Нет, — отвечал он, — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою. — А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили! — Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсе только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка? — Затеялива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину. Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погружаясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней — и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

ГЛАВА XII СИРОТА

Как у нашей у яблоньки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.

Свадебная песня.

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» Я отворотился от него и ничего не отвечал. Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивости. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно:— Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее. Швабрин побледнел как мертвый.— Государь, — сказал он дрожащим голосом... — Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит.— Веди ж меня к ней, — сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал. Швабрин остановился на лестнице.— Государь! — сказал он. — Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей. Я затрепетал.— Так ты женат! — сказал я Швабрину, готовясь его растерзать.— Тише! — прервал меня Пугачев. — Это мое дело. А ты, — продолжал он, обращаясь к Швабрину, — не умничай и не ломайся: жена ли она тебе, или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною. У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом:— Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит без умолку.— Отворяй! — сказал Пугачев. Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли. Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню. Пугачев посмотрел на Швабрину и сказал с горькой усмешкою:— Хорош у тебя лазарет! — Потом, подошел к Марье Ивановне: — Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?— Мой муж! — повторила она. — Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решила умереть, и умру, если меня не избавят. Пугачев взглянул грозно на Швабрину.— И ты смел меня обманывать! — сказал он ему. — Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин? Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился.— Милую тебя на сей раз, — сказал он Швабрину, — но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта. Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково:— Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь. Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.— Что, ваше благородие? — сказал, смеясь, Пугачев. — Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженным отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем — и ворота запрем! Чего я опасался, то и случилось, Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя.— Государь! — закричал он в испуге. — Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости. Пугачев устремил на меня огненные свои глаза.— Это что еще? — спросил он меня с недоумением.— Швабрин сказал тебе правду, — отвечал я с твердостью.— Ты мне этого не сказал, — заметил Пугачев, у коего лицо

омрачилось.— Сам ты рассуди, — отвечал я ему, — можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!— И то правда, — сказал, смеясь, Пугачев. — Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их.— Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнью моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему! — сказал он. — Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду. Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» — спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреич. Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне: я сейчас туда же буду». Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреич, — говорила попадья. — Привел бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укукошил? Добро, спасибо злодею и за то». — «Полно, старуха, — прервал отец Герасим. — Не все то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались». Попадья стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я, в свою очередь, рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная! — говорила Акулина Памфиловна. — Промчи бог тучу мимо. Ай да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!» В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна пошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило. Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Остаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевавшем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагоприятное положение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна! — сказал я наконец. — Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противуречил. Мы поцеловались горячо, искренно — и таким образом все было между нами решено. Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце. Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!.. Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее

одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный! — говорила добрая попадья. — Счастливым путем, и дай бог вам обоим счастья!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.

ГЛАВА XIII АРЕСТ

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему Я должен сей же час отправить вас в тюрьму. — Извольте, я готов; но я в такой надежде, Что дело объяснить дозволите мне прежде.

Княжнин.

Соединенный так нечаянно с милой девушкою, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика. Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приблизились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? — ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяйскою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум! — сказал мне усатый вахмистр. — Вот уж тебе будет баня, и с твоею хозяйскою!» Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи владыко! чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами. Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяйшку к себе привести. — Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве он с ума сошел? — Не могу знать, ваше благородие, — отвечал вахмистр. — Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие! Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире! — Возможно ли? — вскричал я. — Иван Иваныч! ты ли? — Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку? — Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру. — Какую тебе квартиру? Оставайся у меня. — Не могу: я не один. — Ну, подавай сюда и товарища. — Я не с товарищем; я... с дамою. — С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат! — (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.) — Ну, — продолжал Зурин, — так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попиروвали по-старинному... Гей! малой! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею. — Что ты это? — сказал я Зурина. — Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставляю ее. — Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит? — После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали. Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него. Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Все это, брат, хорошо; одно нехорошо: зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною

очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и все будет ладно». Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде. Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?» Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностию. «Друг ты мой, Архип Савельич! — сказал я ему. — Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней». Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неопisanного. — Жениться! — повторил он. — Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает? — Согласятся, верно согласятся, — отвечал я, — когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли? Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич! — отвечал он. — Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого». Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру. На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она тихим голосом. — Придется ли нам увидаться, или нет, бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход. Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание. Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург, и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями. Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу. ¹ Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный! Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе несдобровать! Женишься — ни за что пропадешь!» Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: «Емеля, Емеля! — думал я с досадою, — зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать». Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина. Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила. В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслав моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством.

«Маленькая неприятность, — отвечал он, подавая мне бумагу. — Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева. Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего! — сказал Зурин. — Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть на несколько еще месяцев, устрасала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.

1

К этому месту относится «Пропущенная глава», отброшенная Пушкиным и сохранившаяся только в черновом автографе.

ГЛАВА XIV СУД

Мирская молва —
Морская волна.
Пословица.

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, во еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным. Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, вместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посередине сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою. Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, изливаемой из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет. На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты. Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер, — сказал он мне нахмурясь, — но видали мы и не таких!» Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен? Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог. — Каким же образом, — возразил мой допросчик, — дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии? Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады. Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух: — «На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь:

онный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу...» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?» Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными извещениями злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался. Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчерашнего злодея*. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел — Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседел; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать, — как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрин, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрин, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали. Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слышал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал. Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке. Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностию и осторожностию. Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б **. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявлял ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастью, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решила помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение. Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горсть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как! — повторял он, выходя из себя. — Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен. Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастья. Она скрывала от всех свои слезы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти. Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем

тебе в Петербург? — сказала она. — Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность. Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка! — сказал он ей со вздохом. — Мы твоему счастью помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты. Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкой, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте. Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, что Двор находился в то время в Царском Селе, решила тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером, — словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом. На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание. — Вы, верно, не здешние? — сказала она. — Точно так-с: я вчера только приехала из провинции. — Вы приехали с вашими родными? — Никак нет-с. Я приехала одна. — Одна! Но вы так еще молоды. — У меня нет ни отца, ни матери. — Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам? — Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне. — Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду? — Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия. — Позвольте спросить, кто вы таковы? — Я дочь капитана Миронова. — Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей? — Точно так-с. Дама, казалось, была тронута. «Извините меня, — сказала она голосом еще более ласковым, — если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь.» Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя. Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось, — и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному. — Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом. — Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй. — Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна. — Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув. — Неправда, ей-богу неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. — Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю. Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились?» — спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо». С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды. Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову. Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти господи! — закричала она. — Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?» Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в

карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны. Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну. Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни. Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру». Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты, — сказала она, — но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние». Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оно провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбившись взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

Издатель.

19 окт. 1836.

И. С. ТУРГЕНЕВ

РУССКИЙ ЯЗЫК

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

Рассказ «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»

(Быль)

1

Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин.

Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с богом, поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье есть. Полюбится тебе, может, и женишься и совсем останешься».

Жилин и раздумался: «И в самом деле: плоха уж старуха стала; может, и не придется увидеть. Поехать; а если невеста хороша — и жениться можно».

Пошел он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам четыре ведра водки на прощанье и собрался ехать.

На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в середине едет народ.

Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе.

Ехать было 25 верст. Обоз шел тихо; то солдаты останутся, то в обозе колесо у кого соскочит, или лошадь станет, и все стоят — ждут.

Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги прошел. Пыль, жара, солнце так и печет, а укрыться негде. Голая степь, ни дерева, ни кустика по дороге.

Выехал Жилин вперед, остановился и ждет, пока подойдет обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли, — опять стоять. Жилин и подумал: «А не уехать ли одному, без солдат? Лошадь подо мной добрая, если и нападут на татар — ускачу. Или не ездить?..»

Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем, и говорит:

— Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху хоть выжми. — А Костылин — мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет. Подумал Жилин и говорит:

— А ружье заряжено?

— Заряжено.

— Ну, так поедем. Только уговор — не разъезжаться.

И поехали они вперед по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно.

Только кончилась степь, пошла дорога промеж двух гор в ущелье, Жилин и говорит:

— Надо выехать на гору, поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из-за горы и не увидишь.

А Костылин говорит:

— Что смотреть? поедем вперед.

Жилин не послушал его.

— Нет, — говорит, — ты подожди внизу, а я только взгляну.

И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилиным была охотничья (он за нее сто рублей заплатил в табуне жеребенком и сам выездил); как на крыльях взнесла его на кручь. Только выскакал, глядь — а перед самым им, на десятину места, стоят татары верхами, — человек тридцать. Он увидал, стал назад поворачивать; и татары его увидели, пустились к нему, сами на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под кручь во все лошадиные ноги, кричит Костылину:

— Вынимай ружье! — а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не зацепись ногой, спотыкнешься — пропал. Доберусь до ружья, я им не дамся».

А Костылин, заместо того чтобы подождать, только увидал татар — закатился что есть духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли видно, как лошадь хвостом вертит.

Жилин видит — дело плохо. Ружье уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад к солдатам — думал уйти. Видит, ему наперерез катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми еще добрее, да и наперерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить, да уж разнеслась лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит — близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружье наготове.

«Ну,— думает Жилин,— знаю вас, чертей, если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой».

А Жилин хоть невелик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает: «Либо лошадью сомну, либо срублю шашкой».

На лошадь места не доскакал Жилин, выстрелили по нем сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху,— навалилась Жилину на ногу.

Хотел он подняться, а уж на нем два татарина вонючие сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар,— да еще соскакали с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с седел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, все обшарили, деньги, часы вынули, платье все изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она, сердечная, как упала на бок, так и лежит, только бьется ногами,— до земли не достает; в голове дыра, и из дыры так и свищет кровь черная,— на аршин кругом пыль смочила.

Один татарин подошел к лошади, стал седло снимать. Она все бьется,— он вынул кинжал, прорезал ей глотку. Засвистело из горла, трепанулась, и пар вон.

Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему

на седло; а чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы.

Сидит Жилин за татаринном, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синее. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит.

Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали ложиной.

Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут,— да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя.

Стало смеркаться. Переехали еще речку, стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, забрехали собаки.

Приехали в аул¹. Послезли с лошадей татары, собрались ребята татарские, окружили Жилина, пищат, радуются, стали камнями пулять в него.

Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и кликнул работника. Пришел ногаец скуластый, в одной рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. Принес работник колодку: два чурбака дубовых на железные кольца насажены, и в одном кольце пробойчик и замок.

Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай: толкнули его туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, ощупал в темноте, где помягче, и лег.

2

Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит — в щелке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щелку побольше, стал смотреть.

Видна ему из щелки дорога — под гору идет, направо сакля татарская, два дерева подле нее. Собака черная лежит на пороге, коза с козлятами ходит, хвостиками подергивают. Видит — из-под горы идет татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской, в штанах и сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. Идет, в спине подрагивает, перегибается, а за руку татарчонка ведет бритого, в одной рубашке. Прошла татарка в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете шелковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья, черная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бороду красную сам поглаживает. Постоял, велел что-то работнику и пошел куда-то.

Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп мокрый. Выбежали еще мальчишки бритые, в одних рубашках, без порток, собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щелку. Жилин как ухнет на них: завизжали ребята, закатились бежать прочь, только коленки голые блестят.

А Жилину пить хочется, в горле пересохло; думает — хоть бы пришли проведать. Слышит — отпирают сарай. Пришел красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький. Глаза черные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо веселое, все смеется. Одет черноватый еще лучше: бешмет

шелковый синий, галунчиком обшит. Кинжал на поясе большой, серебряный; башмачки красные, сафьянные, тоже серебром обшиты. А на тонких башмачках другие толстые башмаки. Шапка высокая, белого барашка.

Красный татарин вошел, проговорил что-то, точно ругается, и стал; облокотился на притолку, кинжалом пошевеливает, как волк исподлобья косится на Жилина. А черноватый,— быстрый, живой, так весь на пружинах и ходит,— подошел прямо к Жилину, сел на корточки, оскаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами подмигивает, языком прищелкивает, все приговаривает: «корошоурус! корошоурус!»

Ничего не понял Жилин и говорит: «Пить, воды пить дайте!»

Черный смеется. «Корош урус»,— все по-своему лопочет.

Жилин губами и руками показал, чтоб пить ему дали.

Черный понял, засмеялся, выглянул в дверь, кликнул кого-то: «Дина!»

Прибежала девочка — тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже — глаза черные, светлые и лицом красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах отсрочено красным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие в высокими каблуками; на шее монисто, всё из русских полтинников. Голова непокрытая, коса черная, и в косе лента, а на ленте привешаны бляхи и рубль серебряный.

Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной. Подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьет, как на зверя какого.

Подал ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. Даже отец засмеялся. Послал ее еще куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, глаз не спускает — смотрит.

Ушли татары, заперли опять дверь.

Погодя немного, приходит к Жилину ногаец и говорит:

— Айда, хозяин, айда!

Тоже не знает по-русски. Только понял Жилин, что велит идти куда-то.

Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за ногайцем. Видит — деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с башенкой. У одного дома стоят три лошади в седлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шел Жилин. Сам смеется, все говорит что-то по-своему, и ушел в дверь. Пришел Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. К передней стене пуховики пестрые уложены, по бокам висят ковры дорогие; на коврах ружья, пистолеты, шашки — всё в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чистый, как ток, и весь передний угол устлан войлоками; на войлоках ковры, а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары: черный, красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просяные и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское — буза, в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле.

Вскочил черный, велел посадить Жилина в сторонке, не на ковер, а на голый пол, залез опять на ковер, угощает гостей блинами и бузой. Посадил работник Жилина на место, сам снял верхние башмаки, поставил у двери рядом, где и другие башмаки стояли, и сел на войлок поближе к хозяевам; смотрит, как они едят, слюни утирает.

Поели татары блины, пришла татарка в рубахе такой же, как и девка, и в штанах; голова платком покрыта. Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары, потом сложили руки, сели на коленки, подули на все стороны и молитвы прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей-татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски.

— Тебя,— говорит,— взял Кази-Мугамед,— сам показывает на красного татарина,— и отдал тебя Абдул-Мурату,— показывает на черноватого.— Абдул-Мурат теперь твой хозяин. — Жилин молчит.

Заговорил Абдул-Мурат, и все показывает на Жилина, и смеется, и приговаривает: «солдат урус, корошо урус».

Переводчик говорит: «Он тебе велит домой письмо писать, чтоб за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит».

Жилин подумал и говорит: «А много ли он хочет выкупа?»

Поговорили татары, переводчик и говорит:

— Три тысячи монет.

— Нет,— говорит Жилин,— я этого заплатить не могу.

Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину,— всё думает, что он поймет. Перевел переводчик, говорит: «Сколько же ты дашь?»

Жилин подумал и говорит: «Пятьсот рублей».

Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на красного, залопотал так, что слюни изо рта брызжут. А красный только жмурится да языком пощелкивает.

Замолчали они; переводчик и говорит:

— Хозяину выкупу мало пятьсот рублей. Он сам за тебя двести рублей заплатил. Ему Кази-Мугамед был должен. Он тебя за долг взял. Три тысячи рублей, меньше нельзя пустить. А не напишешь, в яму посадят, наказывать будут плетью.

«Эх,— думает Жилин,— с ними, что робеть, то хуже». Вскочил на ноги и говорит:

— А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться вас, собак!

Пересказал переводчик, опять заговорили все вдруг.

Долго лопотали, вскочил черный, подошел к Жилину.

— Урус,— говорит,— джигит, джигит урус!

Джигит, по-ихнему, значит «молодец». И сам смеется;

сказал что-то переводчику, а переводчик говорит:

— Тысячу рублей дай.

Жилин стал на своем: «Больше пятисот рублей не дам. А убьете,— ничего не возьмете».

Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь поглядывают. Пришел работник, и идет за ним человек какой-то, толстый, босиком и ободранный; на ноге тоже колодка.

Так и ахнул Жилин,— узнал Костылина. И его поймали. Посадили их рядом; стали они рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним дело было; Костылин рассказал, что лошадь под ним стала и ружье осеклось и что этот самый Абдул нагнал его и взял.

Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит.

Перевел переводчик, что они теперь оба одного хозяина, и кто прежде выкуп даст, того прежде отпустят.

— Вот,— говорит Жилину,— ты все серчаешь, а товарищ твой смирный; он написал письмо домой, пять тысяч монет пришлют. Вот его и кормить будут хорошо и обижать не будут.

Жилин и говорит:

— Товарищ, как хочет; он, может, богат, а я не богат. Я,— говорит,— как сказал, так и будет. Хотите убивайте,— пользы вам не будет, а больше пятисот рублей не напишу.

Помолчали. Вдруг как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу, показывает: «пиши». Согласился на 500 рублей.

— Погоди еще,— говорит Жилин переводчику,— скажи ты ему, чтоб он нас кормил хорошо, одел-обул, как следует, чтоб держал вместе,— нам веселей будет, и чтобы колодку снял. — Сам смотрит на хозяина и смеется. Смеется и хозяин. Выслушал и говорит:

— Одежу самую лучшую дам: и черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду, как князей. А коли хотят жить вместе — пускай живут в сарае. А колодку нельзя снять — уйдут. На ночь только снимать буду. — Подскочил, треплет по плечу. — Твоя хорош, моя хорош!

Написал Жилин письмо, а на письме не так написал, чтоб не дошло. Сам думает: «Я уйду».

Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба, две черкески старые и сапоги истрепанные, солдатские. Видно, с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай.

3

Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин все смеется. — Твоя, Иван, хорош,— моя, Абдул, хорош.— А кормил плохо,— только и давал, что хлеб пресный из просяной муки, лепешками печеный, а то и вовсе тесто непеченое.

Костылин еще раз писал домой, все ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придет, или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдет, а другого не писал.

«Где,— думает,— матери столько денег взять, за меня заплатить. И то она тем больше жила, что я посылал ей. Если ей пятьсот рублей собрать, надо разориться вконец. Бог даст — и сам выберусь».

А сам все высматривает, выпытывает, как ему бежать. Ходит по аулу, насвистывает; а то сидит, что-нибудь рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетет плетенки из прутьев. А Жилин на всякое рукоделье мастер был.

Слепил он раз куклу, с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу на крышу.

Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидела куклу, позвала татарок. Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подает им. Они смеются, а не смеют взять. Оставил он куклу, ушел в сарай и смотрит, что будет?

Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала.

Наутро смотрит, на зорьке Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж лоскутками красными убрала и качает, как ребенка, сама по-своему прибаюкивает. Вышла старуха, забранилась за нее, выхватила куклу, разбила ее, услала куда-то Дину на работу.

Сделал Жилин другую куклу, еще лучше,— отдал Дине. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама смеется, показывает на кувшин.

«Чего она радуется?» — думает Жилин. Взял кувшин, стал пить. Думает, вода, а там молоко. Выпил он молоко, «хорошо»,— говорит. Как взрадуется Дина!

— Хорошо, Иван, хорошо! — и вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшин и убежала.

И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. А то делают татары из козьего молока лепешки сырные и сушат их на крышах, — так она эти лепешки ему тайком принашивала. А то раз резал хозяин барана, — так она ему кусок баранины принесла в рукаве. Бросит и убежит.

Была раз гроза сильная, и дождь час целый как из ведра лил. И помутились все речки, где брод был, там на три аршина вода пошла, камни ворочает. Повсюду ручьи текут, гул стоит по горам. Вот как прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал.

Принесли ему девчонки лоскутков, — одел он кукол: одна — мужик, другая — баба; утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгают.

Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и татары пришли, языком шелкают:

— Ай, урус! ай, Иван!

Были у Абдула часы русские, сломанные. Позвал он Жилина, показывает, языком шелкает. Жилин говорит:

— Давай, починю.

Взял, разобрал ножичком, разложил; опять сладил, отдал. Идут часы.

Обрадовался хозяин, принес ему бешмет свой старый, весь в лохмотьях, подарил. Нечего делать, взял, — и то годится покрыться ночью.

С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать: кто замок на ружье или пистолет починить принесет, кто часы. Привез ему хозяин снасть; и щипчики, и буравчики, и подпилочек.

Заболел раз татарин, пришли к Жилину: «Поди, полечи». Жилин ничего не знает, как лечить. Пошел, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет сам». Ушел в сарай, взял воды, песку, помешал. При татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел на его счастье татарин. Стал Жилин немножко понимать по-ихнему. И которые татары привыкли к нему, — когда нужно, кличут: «Иван, Иван!» — а которые все, как на зверя, косятся.

Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернется либо обругает. Был еще у них старик. Жил он не в ауле, а приходил из-под горы. Видал его Жилин только, когда он в мечеть приходил богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотано, борода и усы подстрижены, — белые, как пух; а лицо сморщенное в красное, как кирпич. Нос крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые и зубов нет — только два клыка. Идет, бывало, в чалме своей, костылем подпирается, как волк, озирается. Как увидит Жилина, так захрапит и отвернется.

Пошел раз Жилин под гору — посмотреть, где живет старик. Сошел по дорожке, видит садик, ограда каменная; из-за ограды-черешни, шепталы и избушка с плоской крышкой. Подошел он ближе; видит — ульи стоят, плетенные из соломы, и пчелы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше, посмотреть, и загремел колодкой. Старик оглянулся — как визгнет; выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться.

Пришел старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина, сам смеется и спрашивает:

— Зачем ты к старику ходил?

— Я, — говорит, — ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живет.

Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, махает руками на Жилина.

Жилин не понял всего; но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в ауле. Ушел старик.

Стал Жилин спрашивать хозяина: что это за старик? Хозяин и говорит:

— Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них три месяца, нашел там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку — богу молиться. От этого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить; да мне нельзя убить, — я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал. — Смеется, сам приговаривает по-русски: «твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош!»

4

Прожил так Жилин месяц. Днем ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придет, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней, да он подпилком камни тер, и прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. «Только бы, — думает, — мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары».

Вот он выбрал время, как хозяин уехал; пошел после обеда за аул на гору, — хотел оттуда место посмотреть. А когда хозяин уезжал, он приказал малому за Жилиным ходить, с глаз его не спускать. Бежит малый за Жилиным, кричит:

— Не ходи! Отец не велел. Сейчас народ позову!

Стал его Жилин уговаривать.

— Я,— говорит,— далеко не уйду,— только на ту гору поднимусь: мне траву нужно найти — ваш народ лечить. Пойдем со мной; я с колодкой не убегу. А тебе завтра лук сделаю и стрелы.

Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору — не далеко, а с колодкой трудно; шел, шел, насилу взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни, за горой, лощина, табун ходит, и аул другой в низочке виден. От аула другая гора — еще круче, а за той горой еще гора. Промеж гор лес синееется, а там еще горы всё выше и выше поднимаются. А выше всех — белые, как сахар, горы стоят под снегом. И одна снеговая гора выше других шапкой стоит. На восход и на закат — всё такие же горы; кое-где аулы дымятся в ущельях. «Ну,— думает,— это все ихняя сторона». Стал смотреть в русскую сторону: под ногами речка, аул свой, садики кругом. На речке, как куклы маленькие, видно,— бабы сидят, полоскают. За аулом, пониже, гора, и через нее еще две горы, по ним лес; а промеж двух гор синееется ровное место, а на ровном месте, далеко-далеко, точно дым стелется. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит: так точно, в этой долине должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо.

Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых — алые; в черных горах потемнело; из лощин пар поднялся, и самая та долина, где крепость наша должна быть, как в огне загорелась от заката. Стал Жилин вглядываться,— маячит что-то в долине, точно дым из труб. И так и думается ему, что это самое — крепость русская.

Уж поздно стало. Слышно — мулла прокричал. Стадо гонят — коровы ревут. Малый все зовет: «Пойдем», а Жилину и уходить не хочется.

Вернулись они домой. «Ну,— думает Жилин,— теперь место знаю; надо бежать». Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были темные — ущерб месяца. На беду, к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они — гонят с собою скотину и приезжают веселые. А на этот раз ничего не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. Приехали сердитые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мертвого в полотно, без гроба, вынесли под чинары за

деревню, положили на траву. Пришел мулла, собрались старики, полотенцами повязали шапки, разулись, сели рядком на пятки перед мертвым.

Спереди мулла, сзади три старика в чалмах, рядком, а сзади их еще татары. Сели, потупились и молчат. Долго молчали. Поднял голову мулла и говорит:

— Алла! (значит бог) — Сказал это одно слово, и опять потупились и долго молчали; сидят, не шевелятся. Опять поднял голову мулла:

— Алла! — и все проговорили: «Алла» — и опять замолчали. Мертвый лежит на траве, не шелохнется, и они сидят как мертвые. Не шевельнется ни один. Только слышно, на чинаре листочки от ветерка поворачиваются. Потом прочел мулла молитву, все встали, подняли мертвого на руки, понесли. Принесли к яме. Яма вырыта не простая, а подкопана под землю, как подвал. Взяли мертвого под мышки, да под лытки, перегнули, спустили полегонечку, подсунули сидья под землю, заправили ему руки на живот.

Притащил ногаец камышу зеленого, заклали камышом яму, живо засыпали землей, сровняли, а в головы к мертвецу камень стоймя поставили. Утоптали землю, сели опять рядком перед могилой. Долго молчали.

— Алла! Алла! Алла! — Вздохнули и встали.

Роздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и пошел домой.

Наутро видит Жилин — ведет красный кобылу за деревню, а за ним трое татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава,— ручищи здоровые,— вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыле голову кверху, подошел рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал свежевать — кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки, стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И вся деревня собралась к рыжему поминать покойника.

Три дня ели кобылу, бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На четвертый день, видит Жилин, в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и поехали человек 10, и красный поехал: только Абдул дома остался. Месяц только народился, ночи еще темные были.

«Ну,— думает Жилин,— нынче бежать надо», и говорит Костылину. А Костылин заробел.

— Да как же бежать? Мы и дороги не знаем.

— Я знаю дорогу.

— Да и не дойдем в ночь.

— А не дойдем — в лесу переночуем. Я вот лепешек набрал. Что ж ты будешь сидеть? Хорошо, пришлют денег, а то ведь и не соберут. А татары теперь злые — за то, что ихнего русские убили. Поговаривают — нас убить хотят.

Подумал, подумал Костылин.

— Ну, пойдем.

Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтоб и Костылину пролезть, и сидят они — ждут, чтобы затихло в ауле.

Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался. Шепчет Костылину: «Полезай». Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина сторожка была — пестрая собака, и злая-презлая; звали ее Уляшин. Жилин уже наперед прикормил ее. Услыхал Уляшин,— забрежал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепешки кусок, Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал брехать.

Хозяин услышал, загайкал из сакли: «Гайть! Гайть! Уляшин!»

А Жилин за ушами почесывает Уляшина. Молчит собака, трется ему об ноги, хвостом махает.

Посидели они за углом. Затихло все; только слышно, овца перхает в закуте да низом вода по камушкам шумит. Темно; звезды высоко стоят на небе; над горой молодой месяц покраснелся, кверху рожками заходит. В лощинах туман, как молоко, белеется.

Поднялся Жилин, говорит товарищу: «Ну, брат, айда!»

Тронулись; только отошли, слышат — запел мулла на крыше: «Алла! Бесмила! Ильрахман!» Значит — пойдет народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой. Долго сидели, дожидались, пока народ пройдет. Опять затихло.

— Ну, с богом! — Перекрестились, пошли. Прошли через двор под кручь к речке, перешли речку, пошли ложиной. Туман густой, да низом стоит, а над головой звезды виднешеньки. Жилин по звездам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки — стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошел босиком. Попрыгивает с камушка на камушек да на звезды поглядывает. Стал Костылин отставать.

— Тише,— говорит,— иди: сапоги проклятые, все ноги стерли.

— Да ты сними, легче будет.

Пошел Костылин босиком — еще того хуже: изрезал все ноги по камням и все отстает. Жилин ему говорит:

— Ноги обдерешь — заживут, а догонят — убьют — хуже.

Костылин ничего не говорит, идет, побряхтывает. Шли они низом долго. Слышат — вправо собаки забрехали. Жилин остановился, осмотрелся, полез на гору, руками ощупал.

— Эх,— говорит,— ошиблись мы,— вправо забрали. Тут аул чужой, я его с горы видел; назад надо, да влево в гору. Тут лес должен быть.

А Костылин говорит:

— Подожди хоть немножко, дай вздохнуть,— у меня ноги в крови все.

— Э, брат, заживут; ты легче прыгай. Вот как!

И побежал Жилин назад, влево, в гору, в лес. Костылин все отстает и охает. Жилин шикнет-шикнет на него, а сам все идет.

Поднялись на гору. Так и есть — лес. Вошли в лес,— по колючкам изодрали все платье последнее. Напались на дорожку в лесу. Идут.

— Стой! — Затопало копытами по дороге. Остановились, слушают. Потопало, как лошадь, и остановилось.

Тронулись они — опять затопало. Они остановятся — и оно остановится. Подполз Жилин, смотрит на свет по дороге — стоит что-то. Лошадь не лошадь, и на лошади что-то чудное, на человека не похоже. Фыркнуло — слышит. «Что за чудо!» Свистнул Жилин потихоньку,— как шаркнет с дороги в лес и затрещало по лесу, точно буря летит, сучья ломает.

Костылин так и упал со страху. А Жилин смеется, говорит:

— Это олень. Слышишь — как рогами лес ломит? Мы его боимся, а он нас боится.

Пошли дальше. Уж высокожары спускаться стали, до утра недалеко. А туда ли идут, нет ли,— не знают. Думается так Жилину, что по этой самой дороге его везли и что до своих — верст десять еще будет; а приметы верной нет, да и ночь — не разберешь. Вышли на полянку. Костылин сел и говорит:

— Как хочешь, а я не дойду,— у меня ноги не идут.

Стал его Жилин уговаривать.

— Нет,— говорит,— не дойду, не могу.

Рассердился Жилин, плюнул, обругал его.

— Так я же один уйду,— прощай!

Костылин вскочил, пошел. Прошли они версты четыре. Туман в лесу еще гуще сел, ничего не видать перед собой, и звезды уж чуть видны.

Вдруг слышат, впереди топает лошадь. Слышно — подковами за камни цепляется. Лег Жилин на брюхо, стал по земле слушать.

— Так и есть,— сюда, к нам конный едет.

Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин

подполз к дороге, смотрит — верховой татарин едет, корову гонит, сам себе под нос мурлычет что-то. Проехал татарин. Жилин вернулся к Костылину.

— Ну, пронес бог,— вставай, пойдем.

Стал Костылин вставать и упал.

— Не могу,— ей-богу, не могу; сил моих нет.

Мужчина грузный, пухлый, запотел; да как обхватило его в лесу туманом холодным, да ноги ободраны,— он и рассолодел. Стал его Жилин силой поднимать. Как закричит Костылин:

— Ой, больно! Жилин так и обмер.

— Что кричишь? Ведь татарин близко — услышит.— А сам думает: «Он и вправду расслаб; что мне с ним делать? Бросить товарища не годится».

— Ну,— говорит,— вставай, садись на закорки, снегу, коли уж идти не можешь.

Подсадил на себя Костылина, подхватил руками под ляжки, вышел на дорогу, поволок.

— Только,— говорит,— не дави ты меня руками за глотку, ради Христа. За плечи держись.

Тяжело Жилину,— ноги тоже в крови и умирался. Нагнется, подправит, подкинет, чтоб повыше сидел на нем Костылин, тащит его по дороге.

Видно, услышал татарин, как Костылин закричал. Слышит Жилин, едет кто-то сзади, кличет по-своему. Бросился Жилин в кусты. Татарин выхватил ружье, выпалил,— не попал, завизжал по-своему и поскакал прочь по дороге.

— Ну,— говорит Жилин,— пропали, брат! Он, собака, сейчас соберет татар за нами в погоню. Коли не уйдем версты три,— пропали. — А сам думает на Костылина: «И черт меня дернул колоду эту с собой брать. Один я бы давно ушел».

Костылин говорит: — Иди один, за что тебе из-за меня пропадать.

— Нет, не пойду, не годится товарища бросать. Подхватил опять на плечи, попер. Прошел он так с версту. Все лес идет и не видать выхода. А туман уж расходиться стал, и как будто тучки заходить стали, не видать уж звезд. Измучился Жилин.

Пришел, у дороги родничок, камнем обделан. Остановился, ссадил Костылина.

— Дай,— говорит,— отдохну, напьюсь. Лепешек поедем. Должно быть, недалеко.

Только прилег он пить, слышит — затопало сзади. Опять кинулись вправо, в кусты, под кручь, и легли.

Слышат голоса татарские; остановились татары на том самом месте, где они с дороги свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак притравляют. Слышат — трещит что-то по кустам, прямо к ним собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала.

Лезут и татары — тоже чужие; схватили их, посвязали, посадили на лошадей, повезли.

Проехали версты три,— встречает их Абдул-хозяин с двумя татарами. Поговорил что-то с татарами, пересадили на своих лошадей, повезли назад в аул.

Абдул уж не смеется и ни слова не говорит с ними.

Привезли на рассвете в аул, посадили на улице. Сбежались ребята. Камнями, плетками бьют их, визжат.

Собрались татары в кружок, и старик из-под горы пришел. Стали говорить. Слышит Жилин, что судят про них, что с ними делать. Одни говорят: надо их дальше в горы услать, а старик говорит: «надо убить». Абдул спорит, говорит: «я за них деньги отдал, я за них выкуп возьму». А старик говорит: «ничего они не заплатят, только беды наделают. И грех русских кормить. Убить,— и кончено».

Разошлись. Подошел хозяин к Жилину, стал ему говорить:

— Если,— говорит,— мне не пришлют за вас выкуп, я через две недели вас заporю. А если затеешь опять бежать,— я тебя как собаку убью. Пиши письмо, хорошенько пиши!

Принесли им бумаги, написали они письма. Набили на них колодки, отвели за мечеть. Там яма была аршин пяти, и спустили их в эту яму.

6

Житье им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. Кидали им туда тесто непеченое, как собакам, да в кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота. Костылин совсем разболелся, распух, и ломота во всем теле стала; и все стонет или спит. И Жилин приуныл, видит — дело плохо. И не знает, как выбраться.

Начал он было подкапываться, да землю некуда кидать; увидал хозяин, пригрозил убить.

Сидит он раз в яме на корточках, думает об вольном житье, и скучно ему. Вдруг прямо ему на коленки лепешка упала, другая, и черешни посыпались. Поглядел кверху, а там Дина. Поглядела на него, посмеялась и убежала. Жилин и думает: «не поможет ли Дина?»

Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, собак, думает: «как придет Дина, брошу ей».

Только на другой день нет Дины. А слышит Жилин — затопали лошади, проехали какие-то, и собрались татары у мечети, спорят, кричат и поминают про русских. И слышит голос старика. Хорошенько не разобрал он, а догадывается, что русские близко подошли, и боятся татары, как бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать.

Поговорили и ушли. Вдруг слышит — зашуршало что-то наверху. Видит: Дина присела на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, монисты висят, болтаются над ямой. Глазенки так и блестят, как звездочки; вынула из рукава две сырны лепешки, бросила ему. Жилин взял и говорит:

— Что давно не бывала? А я тебе игрушек наделал. На вот! — Стал ей швырять по одной. А она головой мотает, не смотрит.

— Не надо,— говорит. Помолчала, посидела и говорит: — Иван! тебя убить хотят. — Сама себе рукой на шею показывает.

— Кто убить хочет?

— Отец, ему старики велят. А мне тебя жалко.

Жилин и говорит:

— А коли тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси.

Она головой мотает,— что «нельзя». Он сложил руки, молится ей:

— Дина, пожалуйста! Динушка, принеси!

— Нельзя,— говорит,— увидят, все дома,— и ушла.

Вот сидит вечером Жилин и думает: «что будет?» Все

поглядывает вверх. Звезды видны, а месяц еще не восходил. Мулла прокричал, затихло все. Стал уже Жилин дремать, думает: «побойтся девка».

Вдруг на голову ему глина посыпалась; глянул кверху — шест длинный в тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползет в яму. Обрадовался Жилин, схватил рукой, спустил — шест здоровый. Он еще прежде этот шест на хозяйской крыше видел.

Поглядел вверх,— звезды высоко на небе блестят; и над самою ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся. Нагнулась она лицом на край ямы и шепчет: «Иван, Иван!» — а сама руками у лица все машет,— что «тише, мол».

— Что? — говорит Жилин.

— Уехали все, только двое дома.

Жилин и говорит:

— Ну, Костылин, пойдем, попытаемся последний раз; я тебя подсажу.

Костылин и слушать не хочет.

— Нет,— говорит,— уж мне, видно, отсюда не выйти, Куда я пойду, когда и повернуться нет сил?

— Ну, так прощай,— не поминай лихом. — Поцеловался с Костылиным.

Ухватился за шест, велел Дине держать, полез. Раза два он обрывался,— колодка мешала. Поддержал его Костылин,— выбрался кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху, изо всех сил, сама смеется.

Взял Жилин шест и говорит:

— Снеси на место, Дина, а то хватятся,— прибьют тебя.

Потащила она шест, а Жилин под гору пошел. Слез под кручь, взял камень вострый, стал замок с колодки выворачивать. А замок крепкий,— никак не собьет, да и неловко. Слышит, бежит кто-то с горы, легко попрыгивает. Думает: «верно, опять Дина». Прибежала Дина, взяла камень и говорит:

— Дай я.

Села на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики,— ничего силы нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок, а Дина села подле него на корточках, за плечо его держит. Оглянулся Жилин, видит — налево за горой зарево красное загорелось, месяц встает. «Ну,— думает,— до месяца надо лощину пройти, до лесу добраться». Поднялся, бросил камень. Хоть в колодке,— да надо идти.

— Прощай,— говорит,— Динушка. Век тебя помнить буду.

Ухватила за него Дина: шарит по нем руками, ищет — куда бы лепешки ему засунуть. Взял он лепешки.

— Спасибо,— говорит,— умница. Кто тебе без меня кукол делать будет? — И погладил ее по голове.

Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте слышно — монисты в косе по спине побрякивают.

Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, пошел по дороге,— ногу волочит, а сам все на зарево поглядывает, где месяц встает. Дорогу он узнал. Прямоком идти верст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет. Перешел он речку,— побелел уже свет за горой. Пошел лощиной, идет, сам поглядывает: не видать еще месяца. Уж зарево посветлело и с одной стороны лощины все светлее, светлее становится. Ползет под гору тень, все к нему приближается.

Идет Жилин, все тени держится. Он спешит, а месяц еще скорее выбирается; уж и направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор,— бело, светло совсем, как днем. На деревьях все листочки видны. Тихо, светло по горам, как вымерло все. Только слышно — внизу речка журчит.

Дошел до лесу — никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать.

Отдохнул, лепешку съел. Нашел камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошел по дороге. Прошел с версту, выбился из сил,— ноги ломит. Ступит шагов десять и

остановится. «Нечего делать,— думает,— буду тащиться, пока сила есть. А если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как рассветет,— лягу в лесу, переднюю, а ночью опять пойду».

Всю ночь шел. Только попались два татарина верхами, да Жилин издалека их услышал, схоронился за дерево.

Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошел. «Ну,— думает,— еще тридцать шагов пройду, сверну в лес и сяду». Прошел тридцать шагов, видит — лес кончается. Вышел на край — совсем светло, как на ладонке перед ним степь и крепость, и налево, близехонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется и люди у костров.

Вгляделся — видит: ружья блестят, казаки, солдаты.

Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошел под гору. А сам думает: «избави бог, тут, в чистом поле, увидит конный татарин; хоть близко, а не уйдешь».

Только подумал — глядь: налево, на бугре, стоят трое татар, десятины на две. Увидали его,— пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал руками, закричал что было духу своим:

— Братцы! выручай! братцы!

Услышали наши,— выскочили казаки верховые. Пустились к нему — наперерез татарам.

Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой, подхватил рукой колодку, бежит к казакам, а сам себя не помнит, крестится и кричит:

— Братцы! братцы! братцы!

Казаков человек пятнадцать было.

Испугались татары,— не доезжаячи, стали останавливаться. И подбежал Жилин к казакам.

Окружили его казаки, спрашивают: «кто он, что за человек, откуда?» А Жилин сам себя не помнит, плачет и приговаривает:

— Братцы! Братцы!

Выбежали солдаты, обступили Жилина; кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает.

Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты, товарищи собралась к Жилину.

Рассказал Жилин, как с ним все дело было, и говорит:

— Вот я и домой съездил, женился! Нет, уж, видно, не судьба моя.

И остался служить на Кавказе. А Костылина только еще через месяц выкупили за пять тысяч. Еле живого привезли.

¹ Аул — татарская деревня. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ
НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С
ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИЙ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

(Пушкино. Акулова гора, дача Румянцева,
27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла –
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы –
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею –
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце ало.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
“Слазь!
довольно шляться в пекло!”
Я крикнул солнцу:
“Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут – не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!”
Я крикнул солнцу:
“Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!”
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,

шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать –
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведа,
заговорило басом:
“Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони,
гони, поэт, варенье!”
Слеза из глаз у самого –
жара с ума сводила,
но я ему –
на самовар:
“Ну что ж,
садись, светило!”
Черт дернул дерзости мои
орать ему,-
skonфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь – не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась,-
и степенность
забыв,
сизу, разговорясь
с светилом
постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
“Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!

А мне, ты думаешь,
светить
легко.
– Поди, попробуй! –
А вот идешь –
взялось идти,
идешь – и светишь в оба!”
Болтали так до темноты –
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На “ты”
мы с ним, совсем освоюсь.
И скоро,

дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
“Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты – свое,
стихами”.

Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг – я
во всю светаю мочь –
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить –
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой
и солнца!

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ

Поэма «ВАСИЛИЙ ТЁРКИН» (ГЛАВЫ)

ОТ АВТОРА

На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода,
Лучше нет простой, природной
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки, какой угодно,
Из ручья, из-под льда, -
Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б - вода.

На войне, в быту суровом,
В трудной жизни боевой,
На снегу, под хвойным кровом,
На стоянке полевой, -
Лучше нет простой, здоровой,
Доброй пищи фронтовой.
Важно только, чтобы повар
Был бы повар - парень свой;
Чтобы числился недаром,
Чтоб подчас не спал ночей, -
Лишь была б она с наваром
Да была бы с пылу, с жару -
Подобрей, погорячей;

Чтоб идти в любую драку,
Силу чувствуя в плечах,
Бодрость чувствуя.

Однако

Дело тут не только в щах.

Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.

Не прожить, как без махорки,
От бомбежки до другой
Без хорошей поговорки
Или присказки какой -

Без тебя, Василий Теркин,
Вася Теркин - мой герой,
А всего иного пуще
Не прожить наверняка -
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

Что ж еще?.. И все, пожалуй.

Словом, книга про бойца
Без начала, без конца.
Почему так - без начала?
Потому, что сроку мало
Начинать ее сначала.

Почему же без конца?
Просто жалко молодца.

С первых дней години горькой,
В тяжкий час земли родной
Не шутя, Василий Теркин,
Подружились мы с тобой,

Я забыть того не вправе,
Чем твоей обязан славе,
Чем и где помог ты мне.
Делу время, час забаве,
Дорог Теркин на войне.

Как же вдруг тебя покину?
Старой дружбы верен счет.
Словом, книгу с середины
И начнем. А там пойдет.

ПЕРЕПРАВА

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда.,

Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа.

Ночью, первым из колонны,
Обломав у края лед,
Погрузился на понтоны.
Первый взвод.
Погрузился, оттолкнулся
И пошел. Второй за ним.
Приготовился, пригнулся
Третий следом за вторым.

Как плоты, пошли понтоны,
Громыхнул один, другой
Басовым, железным тоном,
Точно крыша под ногой.

И плывут бойцы куда-то,
Притаив штыки в тени.
И совсем свои ребята
Сразу - будто не они,
Сразу будто не похожи
На своих, на тех ребят:

Как-то все дружней и строже,
Как-то все тебе дороже
И родней, чем час назад.

Поглядеть - и впрямь - ребята!
Как, по правде, желторот,
Холостой ли он, женатый,
Этот стриженный народ.

Но уже идут ребята,
На войне живут бойцы,
Как когда-нибудь в двадцатом
Их товарищи - отцы.

Тем путем идут суровым,
Что и двести лет назад
Проходил с ружьем кремневым
Русский труженик-солдат.

Мимо их висков вихрастых,
Возле их мальчишских глаз
Смерть в бою свистела часто
И минет ли в этот раз?

Налегли, гребут, потея,
Управляются с шестом.
А вода ревет правее -
Под подорванным мостом.

Вот уже на середине
Их относит и кружит...

А вода ревет в теснине,
Жухлый лед в куски крошит,
Меж погнутых балок фермы
Бьется в пене и в пыли...

А уж первый взвод, наверно,
Достает шестом земли.

Позади шумит протока,
И кругом - чужая ночь.
И уже он так далеко,
Что ни крикнуть, ни помочь.

И чернеет там зубчатый,
За холодной чертой,
Неподступный, непочатый
Лес над черною водой.

Переправа, переправа!
Берег правый, как стена...

Этой ночи след кровавый
В море вынесла волна.

Было так: из тьмы глубокой,
Огненный взметнув клинок,
Луч прожектора протоку
Пересек наискосок.

И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны - в ряд.

Густо было там народу -
Наших стриженных ребят...

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно..

Под огнем неразбериха -
Где свои, где кто, где связь?

Только вскоре стало тихо, -
Переправа сорвалась.

И покамест неизвестно,
Кто там робкий, кто герой,
Кто там парень расчудесный,
А наверно, был такой.

Переправа, переправа...
Темень, холод. Ночь как год.

Но вцепился в берег правый,
Там остался первый взвод.

И о нем молчат ребята
В боевом родном кругу,
Словно чем-то виноваты,
Кто на левом берегу.

Не видать конца ночлегу.
За ночь грудую взялась
Пополам со льдом и снегом
Перемешанная грязь.

И усталая с похода,
Что б там ни было, - жива,
Дремлет, скорчившись, пехота,
Сунув руки в рукава.

Дремлет, скорчившись, пехота,
И в лесу, в ночи глухой
Сапогами пахнет, потом,
Мерзлой хвоей и махрой.

Чутко дышит берег этот
Вместе с теми, что на том
Под обрывом ждут рассвета,
Греют землю животом, -
Ждут рассвета, ждут подмоги,
Духом падать не хотят.

Ночь проходит, нет дороги
Ни вперед и ни назад...

А быть может, там с полночи
Порошит снежок им в очи,
И уже давно
Он не тает в их глазницах
И пылью лежит на лицах -

Мертвым все равно.

Стужи, холода не слышат,
Смерть за смертью не страшна,
Хоть еще паек им пишет
Первой роты старшина,

Старшина паек им пишет,
А по почте полевой
Не быстрее идут, не тише
Письма старые домой,
Что еще ребята сами
На привале при огне
Где-нибудь в лесу писали
Друг у друга на спине...

Из Рязани, из Казани,
Из Сибири, из Москвы -
Спят бойцы.
Свое сказали
И уже навек правы.

И тверда, как камень, гряда,
Где застыли их следы...

Может - так, а может - чудо?
Хоть бы знак какой оттуда,
И беда б за полбеда.

Долги ночи, жестки зори
В ноябре - к зиме седой.

Два бойца сидят в дозоре
Над холодной водой.

То ли снится, то ли мнится,
Показалось что невесть,
То ли иней на ресницах,
То ли вправду что-то есть?

Видят - маленькая точка
Показалась вдалеке:
То ли чурка, то ли бочка
Проплывает по реке?

- Нет, не чурка и не бочка -
Просто глазу маята.
- Не пловец ли одиночка?
- Шутишь, брат. Вода не та!
- Да, вода... Помыслить страшно.
Даже рыбам холодна.
- Не из наших ли вчерашних
Поднялся какой со дна?..

Оба разом присмирели.
И сказал один боец:
- Нет, он выплыл бы в шинели,
С полной выкладкой, мертвец.

Оба здорово продрогли,

Как бы ни было, - впервой.

Подошел сержант с биноклем.
Присмотрелся: нет, живой.

- Нет, живой. Без гимнастерки.
- А не фриц? Не к нам ли в тыл?
- Нет. А может, это Теркин? -
Кто-то робко пошутил.

- Стой, ребята, не соваться,
Толку нет спускать понтон.
- Разрешите попытаться?
- Что пытаться!
- Братцы, - он!

И, у заберегов корку
Ледяную обломав,
Он как он, Василий Теркин,
Встал живой, - добрался вплавь.

Гладкий, голый, как из бани,
Встал, шатаясь тяжело.
Ни зубами, ни губами
Не работает - свело.

Подхватили, обвязали,
Дали валенки с ноги.
Пригрозили, приказали -
Можешь, нет ли, а беги.

Под горой, в штабной избушке,
Парня тотчас на кровать
Положили для просушки,
Стали спиртом растирать.

Растирали, растирали...
Вдруг он молвит, как во сне:
- Доктор, доктор, а нельзя ли
Изнутри погреться мне,
Чтоб не все на кожу тратить?

Дали стопку - начал жить,
Приподнялся на кровати:

- Разрешите доложить...
Взвод на правом берегу
Жив-здоров назло врагу!
Лейтенант всего лишь просит
Огоньку туда подбросить.

А уж следом за огнем
Встанем, ноги разомнем.
Что там есть, перекалечим,
Переправу обеспечим...

Доложил по форме, словно
Тотчас плыть ему назад.

- Молодец! - сказал полковник.

Молодец! Спасибо, брат.

И с улыбкою неробкой
Говорит тогда боец:

- А еще нельзя ли стопку,
Потому как молодец?

Посмотрел полковник строго,
Покосился на бойца.

- Молодец, а будет много -
Сразу две.

- Так два ж конца...

Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.

Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

О НАГРАДЕ

– Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
На медаль. И то не к спеху.
Вот закончили б войну,
Вот бы в отпуск я приехал
На родную сторону.
Буду ль жив ещё? – Едва ли.
Тут воюй, а не гадай.
Но скажу насчёт медали:
Мне её тогда подай.
Обеспечь, раз я достоин.
И понять вы все должны:
Дело самое простое –
Человек пришёл с войны.
Вот пришёл я с полустанка
В свой родимый сельсовет.
Я пришёл, а тут гулянка.
Нет гулянки? Ладно, нет.
Я в другой колхоз и в третий –
Вся округа на виду.
Где-нибудь я в сельсовете
На гулянку попаду.
И, явившись на вечерку,
Хоть не гордый человек,
Я б не стал курить махорку,
А достал бы я «Казбек».
И сидел бы я, ребята,
Там как раз, друзья мои,
Где мальцом под лавку прятал
Ноги босые свои.
И дымил бы папирсой,

Угощал бы всех вокруг.
И на всякие вопросы
Отвечал бы я не вдруг.
– Как, мол, что? – Бывало всяко.
– Трудно всё же? – Как когда.
– Много раз ходил в атаку?
– Да, случалось иногда.
И девчонки на вечерке
Позабыли б всех ребят,
Только слушали б девчонки,
Как ремни на мне скрипят.
И шутил бы я со всеми,
И была б меж них одна...
И медаль на это время
Мне, друзья, вот так нужна!
Ждёт девчонка, хоть не мучай,
Слова, взгляда твоего...
– Но, позволь, на этот случай
Орден тоже ничего?
Вот сидишь ты на вечерке,
И девчонка – самый цвет.
– Нет, – сказал Василий Тёркин
И вздохнул. И снова: – Нет.
Нет, ребята. Что там орден.
Не загадывая вдаль,
Я ж сказал, что я не гордый,
Я согласен на медаль.
Тёркин, Тёркин, добрый малый,
Что тут смех, а что печаль.
Загадал ты, друг, немало,
Загадал далёко вдаль.

Были листья, стали почки,
Почки стали вновь листвою.
А не носит писем почта
В край родной смоленский твой.
Где девчонки, где вечерки?
Где родимый сельсовет?
Знаешь сам, Василий Тёркин,
Что туда дороги нет.
Нет дороги, нету права
Побывать в родном селе.
Страшный бой идёт, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

ИВАН ПОЛИКАРПОВИЧ ТРЕТЬЯКОВ

БЫВАЮТ МИНУТЫ...

Только что окончился налёт немецкой авиации, и уцелевшие лодки, на которых переправлялась наша пехота, торопливо шли к берегам: одни к правому, другие к левому — кому куда ближе. Отчаянно тархтя мотором, черпая бортом воду, барахтался у левого берега повреждённый катер.

Вскоре в середине Днепра остался один понтон¹. Никем не управляемый, он послушно подчинялся волне.

На понтон был погружен взвод лейтенанта Сергачёва — подкрепление, которое ожидал на плацдарме комбат². Пятнадцать сильных, здоровых, опытных бойцов и одна девушка санинструктор³ — вот сколько людей село в эту выносливую посудину. Что творилось теперь за её высокими бортами — никто не знал.

...Бомба ударила рядом и взорвалась, едва коснувшись воды.

Ещё когда она оторвалась от серо-жёлтого брюха самолёта, необыкновенное чутьё, в котором за многие месяцы борьбы со смертью сконцентрировались и безошибочный глазомер, и мгновенный, почти подсознательный расчёт, подсказало Сергачёву, что от этой бомбы не уйти, она упадёт прямо на них.

Лейтенант Сергачёв сделал единственное, что было возможно сделать в оставшиеся мгновения, — изо всех сил крикнул солдатам “ложись” и посмотрел, легли или нет. Последнее, что он мог отметить в сознании, это лёгкий, едва заметный шелестящий звук и всё возрастающее давление упругой, душной волны воздуха...

Сознание вернулось от нестерпимой боли. Сергачёв понял, что ранен.

Он с трудом приподнялся на правом локте и, сколько мог, вытянул длинную, по-мальчишески тонкую шею, чтобы посмотреть через борт.

Увидев, что берег не только не приближается, а, наоборот, как бы уплывает назад, Сергачёв вспомнил, что он в понтоне, а понтон на реке. Пронзила мысль: что же с людьми? Он стал присматриваться. Одни уже лежали не шевелясь, другие сидели; некоторые, видимо, что-то кричали — он видел, как они открывали рты, но почему-то не слышал. Потом что-то лопнуло у него в ушах, и сразу в сознание ворвались крики, стоны, — и окружающая понтон тишина.

— Сездра, — жалобно тянул кто-то с ударением на первом слоге, — помоги, эй, сездра-а...

Сергачёв узнал голос Гаибова, лучшего снайпера взвода. И то, что Гаилов тянул так жалобно, потрясло его. Голос между тем всхлипнул и затих. Умер, значит, весельчак Гаилов? Или жив ещё?

А где же всё-таки сестра?

Санинструктор лежала на носовой банке⁴, уткнувшись головой в борт. В Сергачёве проснулось недавнее недоброжелательное чувство к ней; с раздражением подумал о том, что не стоило брать её с собой. Ротный пихнул ему в лодку это полусонное сокровище, эту замухрышку, какой ему, Сергачёву, в общем, не приходилось встречать всю войну. Маленькая, тонюсенькая, она казалась девчонкой-подростком и поначалу вызывала жалость; как-то неловко было оттого, что и дети воюют, и в этих ещё неоперившихся подростках порой нуждаются взрослые... Зато лицо санинструктора производило совсем иное впечатление — усталое, измученное, всё в мелких морщинках, оно заставляло предполагать, что девушка либо значительно старше, чем кажется, либо бог знает что пережила и перевидела.

Сергачёв вскочил и схватился за весло. А санинструктор, похоже, спала. Убеждённый, что она погибла — глупо, по-овечьи погибла, даже не попытавшись спастись, — он, сам не зная почему, всё-таки хрипло крикнул:

— Сестра!

К его изумлению, она зашевелилась, помотала головой, села... Поистине магической силой обладает командирский голос! Уяснив это, Сергачёв крикнул ещё раз. Белёсые ресницы сестры испуганно дрогнули, правая рука потянулась к санитарной сумке. Девушка спросила встревоженно:

— Вы ранены?

— А вы — нет? — ядовито ответил Сергачёв. — Ну-ка, осмотрите всех, кто дышит, и самого здорового перевяжите, чтобы мне помог!

Сестра, словно серенький воробушек, заскакала, закопошилась среди солдат.

Пчёлкина хлопотала около ефрейтора Боровских. Глубоко запавшими глазами ефрейтор следил за худыми ручонками медсестры — они так и летали вокруг его бедра, облитого кровью.

— Братцы! — воскликнул Сергачёв. — Сносит нас прямо к немцам. Кто может, чем может... гребите к нашему берегу! Бросьте всё и гребите к берегу!

Лицо Сергачёва исказилось от боли, и он закричал медсестре — она заканчивала перевязывать ему раздробленную кисть руки:

— Брось! Помогай им! — Тут голос его сдал, упал до шёпота. — Брось, говорю! Даже мёртвым и то не хочу попадать к ним... А тебе... тебе совсем нельзя... Совсем... Понимаешь ты или нет? Каждый миг дорог, пойми!

Пчёлкина смотрела на него растерянно.

— Весло, весло возьми! — хрипел Сергачёв. На лбу у него, на едва опушённой редким волосом верхней губе выступил крупный пот, а на подбородке бог знает откуда взялась кровь. — Ребята, гребите! А ты, сестра, правь. Правь, говорю!

Что значит “правь”? Как это делается? Немалых трудов стоило ей вытащить из уключины⁵ весло. Пробравшись на корму, она кое-как устроилась на задней банке, высунула весло наружу и оглянулась на Сергачёва: что делать дальше?

Сергачёв лежал с закрытыми глазами.

Спросить было некого.

Сердце у Пчёлкиной ёкнуло; ей стало страшнее, чем в тот момент, когда она пришла в себя и увидела вокруг раненых и убитых.

Что же делать, что?

Она попробовала поработать веслом, отталкиваясь то в одну, то в другую сторону, и каждый раз понтон поворачивался не туда, куда она хотела.

Снова с надеждой взглянула она на Сергачёва. Сергачёв лежал, не подавая признаков жизни.

Она осознала острее и непосредственнее, чем несколько минут назад, что осталась невредимой — одна среди всех, и следовательно всё-всё лежит теперь на её совести: спасение живых, раненых и мёртвых. И её собственное спасение.

Только ведь очень, очень скоро понтон подплывет к тому месту, где справа — немцы и слева — немцы...

— Боровских! Гребите против течения! — крикнула она. И сама испугалась, что крикнула. Зачем? Ефрейтор не станет её слушать, как не слушал никогда...

Но нет — Боровских послушался. Он словно подгонял воду, а понтон, тихонько правда, но шёл вверх по течению.

Пчёлкина старалась работать веслом, как Боровских; это ей не удалось, и, не рассчитав своих усилий, она чуть не свалилась в воду.

Боровских стрельнул в неё глазами так свирепо, что она вся подобралась и стала следить за результатами своих действий: что будет с понтоном, если грести справа, и, наоборот, куда он повернётся, если грести слева. Результаты этих наблюдений — мгновенных, почти подсознательных — сказали ей многое. Постепенно она всё меньше и меньше допускала неверных движений пустых, неуверенных взмахов весла. И вдруг заметила: дело пошло на лад, понтон стал подвигаться к нашему берегу; во всяком случае, его не сносило вниз...

На её счастье, очнулся угрюмый Бугаев и сразу же руками за борт; Боровских всё ещё старался, как мог, и ещё один солдат, фамилии которого она не знала, стоя на коленях, грёб прикладом автомата...

Понтон пополз вверх по течению; Пчёлкина сначала легонько, а затем покруче стала поворачивать его к берегу. Тут она переборщила, понтон развернулся поперёк течения, пришлось его выравнивать, тратя на это силы и дорогие секунды. Зато она окончательно поняла, как надо грести, и с этого момента не ошибалась больше.

— Сестра, — послышался голос Бугаева.

Она повернулась к нему, и сержант, несмотря на то что у него гудело в голове, успел предупредить: понтон выходит на быстрину. Посоветовал:

— Жми... к берегу... веди наискось! Поднатужься как-нибудь...

Одна... Никто ей не поможет больше ни советом, ни делом. А мгновения бегут, бегут... Понтон опять поплыл вниз; вода в нём всё прибывала, тихо шелестела она за бортом, прозрачно-зелёная, загадочная, неизвестной глубины...

Пчёлкина не знала, сколько прошло времени после того, как она очнулась от крика Сергачёва; ей думалось, что очень много...

И тут немцы, наблюдавшие за странными бросками и манипуляциями⁶ понтона, заметили, что понтон выровнялся, как бы обрёл силу и уверенно пошёл к берегу. Они поняли наконец, что эта девушка вот-вот уведёт понтон, и открыли огонь.

Бил крупнокалиберный пулемёт. Вода звучно, отрывисто чмокала, кипела у самого борта.

Пчёлкину это вынудило лечь на дно — она решила переждать обстрел. Что-то холодное обхватило ей ноги, живот, грудь; она чуть не закричала от ужаса. Вода! Она зальёт лежавших на дне; если кто из них жив — захлебнётся.

Пчёлкина встала. Одного за другим посадила к бортам всех — и живых и мёртвых.

У Пчёлкиной гудело в ушах, тряслись руки.

Вражеский пулемёт сопровождал понтон неотступно; рядом взорвалось несколько мин.

Нет худа без добра: от этих взрывов пришли в себя Боровских и Бугаев, очнулся Сергачёв, а затем и Студёный.

Лейтенант смотрел на неё одобрительно и с надеждой.

Берег приближался. Из зарослей ивняка неслись крики — она не могла понять, кто и о чём кричит. Ниже по течению реки сутились в кустах какие-то люди в серо-зелёном. Боже, они ставили пулемёт! Легли около

него... Немцы! А вдоль берега, прямо на пулемётчиков, строча на ходу из автоматов, бежали наши — она узнала их по выцветшим гимнастёркам.

Успеют или не успеют добежать, пока немцы не открыли огонь? Вряд ли...

Пчёлкина отстегнула кобуру пистолета: убить, господи фашисты, вы её сможете, а взять её и людей, которые волей судьбы оказались на её попечении, — никогда!

Снова появились уверенность и надежда. Но метрах в пятидесяти от берега силы её оставили. Она не заметила, когда человек пять-шесть наших, с оружием и в одежде, кинулись в воду...

...Из понтона выгружали раненых и убитых; автоматчики устраивались в только что занятых окопах ликвидированного немецкого “пяточка”...

Ничего этого Пчёлкина не видела и не слышала. Она лежала на песчаном бугре, отдыхая, или, точнее, медленно приходя в себя после длинного-длинного плавания через Днепр, плавания, которое, как сказал ротный, длилось ровно двадцать минут.

Невдалеке лежал на носилках Сергачёв. Приподнимая голову, он спрашивал санитаров, кто из его солдат уцелел, где сестра.

Да, о санинструкторе Пчёлкиной он думал теперь с признательностью. Он знал по опыту, что бывают минуты, когда человек раскрывается сразу, весь. Но тут... Откуда это взялось?

¹ **Понтон** — это плавучее средство, предназначенное для поддержания тяжестей на воде. Использовался обычно при отсутствии мостов.

² **Комбат** — командир батальона, реже - командир батареи.

³ **Санинструктор** — санитарный инструктор, лицо младшего медицинского состава военно-медицинской службы, медсестра.

⁴ **Носовая банка** — доска, служащая для сиденья на судне.

⁵ **Уключина** — крепление, в котором подвижно закрепляется весло.

⁶ **Манипуляция** — здесь: в знач. “действия, движения”.

О. ГЕНРИ (Уильям Сидней Портер)

Новелла «ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ»

(Перевод с английского Н.Л.Дарузеса)

В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии.

Студия Сью и Джонси помещалась наверху трёхэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительное от Джоанны. Одна приехала из штата Мэйн, другая из Калифорнии. Они познакомились за столиком одного ресторанчика на Вольмой улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия.

Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют Пневмонией, незримо разгуливал по проездам, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По Восточной стороне этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плёлся нога за ногу.

Господина Пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником. Он свалил её с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплёт голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома.

Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор.

— У неё один шанс... ну, скажем, против десяти, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. — И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О чём она думает?

— Ей... ей хотелось написать красками Неаполитанский залив.

— Красками? Чепуха! Нет ли у неё на душе чего-нибудь такого, о чём действительно стоило бы думать, например, мужчины?

— Мужчины? — переспросила Сью, и её голос зазвучал резко, как губная гармоника. — Да нет, доктор, ничего подобного нет.

— Ну, тогда она просто ослабла, — решил доктор. — Я сделаю всё, что буду в силах сделать как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у неё будет один шанс из пяти, вместо одного из десяти.

После того как доктор ушёл, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертёжной доской, насвистывая рэгтайм.

Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула. Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в Искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мостят себе путь в Литературу.

Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью слышала тихий шёпот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала в обратном порядке.

— Двенадцать, — произнесла она, и немного погодя: — одиннадцать, — а потом: — “десять” и “девять”, а потом — “восемь” и “семь” — почти одновременно.

Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом заплёл до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголённые скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи.

— Что там такое, милая? — спросила Сью.

— Шесть, — едва слышно ответила Джонси. — Теперь они облетают гораздо быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и ещё один полетел. Теперь осталось только пять.

— Чего пять, милая? Скажи своей Сьюди.

— Листьев. На плюще. Когда упадёт последний лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?

— Первый раз слышу такую глупость! — с великолепным презрением отпарировала Сью. — Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты ещё так любила этот плющ, гадкая девочка! Не будь глупышкой. Да ведь ещё сегодня доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь... позволь, как же это он сказал?.. что у тебя десять шансов против одного. А ведь это не меньше, чем у каждого

из нас здесь в Нью-Йорке. Съешь немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя...

— Постарайся уснуть, — сказала Сью. — Мне надо позвать Бермана, я хочу писать с него золотоискателя-отшельника. Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду.

Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за шестьдесят, и борода, вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он всё собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Он пил запоем, но всё ещё говорил о своём будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц.

Сью застала Бермана, сильно пахнувшего можжевельновыми ягодами, в его полутёмной каморке нижнего этажа. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчёт того, как бы она, лёгкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет её непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями.

Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шёл холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы.

На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зелёной шторы.

— Подними её, я хочу посмотреть, — шёпотом скомандовала Джонси.

Сью устало повиновалась.

Лист плюща всё ещё оставался на месте.

Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогревала для неё куриный бульон на газовой горелке.

— Я была скверной девчонкой, Сьюди, — сказала Джонси. — Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немного бульона, а потом молока с портвейном... Хотя нет: принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь.

Часом позже она сказала:

— Сьюди, надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив.

Днём пришёл доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую.

— Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход — и больше ничего не нужно.

В тот же вечер Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла её одной рукой — вместе с подушкой.

— Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка, — начала она. — Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашёл бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лёд. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который всё ещё горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с жёлтой и зелёной красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да милая, это и есть шедевр Бермана — он написал в ту ночь, когда слетел последний лист.